КАРЕН ДЖОЙ ФАУЛЕР

Мы совершенно не В себе



CORPUS

Бестселлер *The New York Times*

Мы совершенно не в себе
Карен Джой Фаулер

Аннотация
Карен Джой Фаулер. Мы совершенно не в себе
Пролог
Часть первая
Часть вторая
Часть третья
Часть четвертая
Часть пятая
Часть шестая
Благодарности

Аннотация

Семейство Куков, когда-то благополучное, окружает некая тайна. Розмари, студентка университета, вспоминает, что в детстве была удивительно общительным, даже болтливым ребенком, но теперь замкнута, с трудом вступает в контакт с людьми, ее мучают странные комплексы. Ее старший брат Лоуэлл давно ушел из дома. Мать пережила тяжелую депрессию, отец, известный ученый, прекратил работу над важным проектом. И читатель долго не знает, кто же такая Ферн, о которой Розмари пишет: “Она была мой близнец, мое смешное кривое зеркало, моя неугомонная вторая половина”. Только найдя Ферн, вернувшись к ней, члены семьи Куков могут наконец вновь обрести себя.

Карен Джой Фаулер
Мы совершенно не в себе

Памяти чудесной Венди Вейл, защитницы книг и животных, да и моей – на обоих фронтах.

По правде говоря, господа, хоть я ни на чем не настаиваю, но ваше обезьянство, коли есть оно в вашем прошлом, должно быть не дальше от вас, чем мое от меня. Пятки щекочет ведь каждому из нас, шагающих по земле, малышке шимпанзе так же, как великану Ахиллу.

Франц Кафка
“Отчет для академии”[1]

Karen Joy Fowler
We Are All Completely Beside Ourselves

This edition is published by arrangement with The Friedrich Agency and The Van Lear Agency

© Karen Joy Fowler, 2013
© М. Глезерова (части 4–6), перевод на русский язык, 2021
© Е. Чебучева (части 1–3), перевод на русский язык, 2021
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2021
© ООО “Издательство Аст ”, 2021
Издательство CORPUS ®

---

[1] Примечания: 1
Здесь и далее перевод Ю. Архипова.

Пролог

Кто знает меня нынешнюю, немало удивится, но в детстве я была болтунья. Сохранилось допотопное домашнее видео, где мне два года: оно снято без звука, и пленка уже выцвела — белесое небо, бледно-розовые кеды вместо красных, — и все равно видно, как много я разговариваю.

Вот я обустраиваю территорию: подбираю на подъездной дорожке камешек, переношу к большой жестяной лохани, бросаю туда и возвращаюсь за следующим. Работаю не покладая рук, но не забываю покрасоваться: таращу глаза, как звезда немого кино, протягиваю полюбоваться кусочек прозрачного кварца и запихиваю его за щеку.

Рядом возникает мама и вытаскивает камешек. Потом она отступает за границы кадра, но теперь я что-то энергично объясняю, это ясно по моей жестикуляции; мама снова подходит и бросает камешек в лоханку. Вся сцена длится минут пять, и я не умолкаю ни на миг.

Несколько лет спустя мама прочитала нам старую сказку, в которой у одной сестры (старшей)

вместо слов изо рта сыплются жабы да змеи, а у другой (младшей) — цветы и драгоценные камешки. Именно так я и воспринимала тот кадр, где мама запускает мне в рот пальцы — и достает алмаз.

В детстве я была светловолосой и намного симпатичнее, чем когда подросла. Специально для камеры меня нарядили как куколку. Непослушную челку смочили водой и скрепили сбоку заколкой в форме лука, со стразами. При каждом повороте головы заколка вспыхивает на солнце. Я провожу рукой над лоханью с камешками, как бы говоря: когда-нибудь все это станет твоим.

А может быть, что-то совсем другое. Главное в фильме — не слова сами по себе. Их непомерное изобилие, вот что стремились запечатлеть родители, их неиссякаемый поток.

Правда, иной раз меня все же приходилось останавливать. Если тебе хочется сказать две вещи сразу, выбери одну и скажи только ее, предложила однажды мама, уча меня вежливо себя вести; в более поздней модификации правила следовало выбрать одну вещь из трех. Отец по вечерам появлялся на пороге моей спальни пожелать спокойной ночи, и я начинала без умолку тараторить, отчаянно стараясь одним своим голосом

удержать его в комнате на подольше. Его рука ложилась на ручку двери, и дверь постепенно закрывалась. Я должна тебе кое-что сказать! — говорила я, и дверь останавливалась на полпути.

Начинай тогда с середины, отвечал отец, тень на фоне освещенного люстрой коридора, с обычной вечерней усталостью всех взрослых. Свет отражался в окне спальни, как звезда, на которую можно загадать желание.

Пропусти начало. Давай с середины.

Часть первая

Буря, которая унесла меня из моего прошлого, стихла.

Франц Кафка
“Отчет для академии”

1

Итак, середина моей истории. Она приходится на зиму 1996 года. К тому времени наша семья уже давно свелась к тому составу, который предсказало старое домашнее видео: я, мама и папа, незримо присутствующий по другую сторону камеры. В 1996-м минуло десять лет с тех пор, как я последний раз видела брата, и семнадцать — с тех пор, как исчезла сестра. Вся средняя часть моей истории повествует об их отсутствии, хотя вы могли бы этого и не знать, не скажи я сама. В 1996-м проходили целые дни, когда я не думала ни об одном, ни о другой.

1996 год. Високосный. Год Огненной Крысы. Клинтона только что переизбрали президентом; все это кончится плачевно. Кабул перешел под власть талибов. Сняли осаду с Сараево. Чарльз и

Диана недавно развелись.

По небу металась комета Хейла — Боппа. В ноябре появились первые заявления о том, что за кометой следует объект, напоминающий Сатурн. Суперзвезды года — клонированная овечка Долли и шахматная компьютерная программа “Дип Блю”. Обнаружено свидетельство жизни на Марсе. Возможно, объект в форме Сатурна — космический корабль инопланетян. В мае 1997 года 39 человек покончат с собой, уверенные, что таким способом попадут на его борт.

Какой заурядной я смотрюсь на этом фоне. В 1996 году мне было двадцать два, я мотала пятый год в Калифорнийском университете в Дэвисе, застряв не то на третьем, не то на четвертом курсе, но испытывала такое капитальное отсутствие интереса к тонкостям программ, нормативам и дипломам, что не рассчитывала окончить учебу в обозримом будущем. Мое обучение, любил говорить отец, отличается скорее широтой, чем глубиной. Повторял он это часто.

Я же не видела причин торопиться. Конкретных целей у меня не было, разве что сделаться либо предметом всеобщего восхищения, либо тайным авторитетом — я никак не могла выбрать. Да только какая разница, все равно ни

одна из основных дисциплин не давала надежды стать тем или другим.

Родители по-прежнему оплачивали мои расходы и уже раздражались. Мама в те дни раздражалась часто. Стимулирующие дозы справедливого раздражения были ей в новинку — они ее молодили. Мама как раз объявила, что работает переводчиком и связным между папой и мной (мы с ним едва общались). Не помню, чтобы я возражала. Отец сам был преподаватель вуза и педант до мозга костей. Каждый разговор с ним обязательно содержал в себе урок, как вишня — косточку. Метод Сократа до сих пор вызывает у меня желание кого-нибудь укусить.

Осень в тот год пришла внезапно, будто распахнула дверь. Однажды утром я катила на велосипеде в университет, и в вышине пролетела большая стая казарок. Я не могла их видеть и вообще мало что видела вокруг, но услышала над головой оживленное гоготанье. С полей наполз туман, и я крутила педали, окутанная облаками. Густой низкий туман не похож на прочие туманы: он не рваный и не дрейфует, а плотный и висит неподвижно. Кто-нибудь другой не рискнул бы гнать в неизвестность, но у меня была, по крайней мере в детстве, особая страсть дурить и

нарываться на неприятности, и потому я получала от езды полное удовольствие.

Меня омывал влажный воздух, и я почувствовала себя тоже чуть-чуть перелетной, чуть-чуть дикой. Может, пофлиртую немножко в библиотеке, если рядом окажется кто-нибудь пригодный для флирта, или помечтаю на занятии. В то время я часто чувствовала себя дикой; мне нравилось это чувство, но оно ни к чему не вело.

В обеденный перерыв я взяла себе какой-то еды в столовой; пусть это будет жареный сыр. На стул рядом с собой я, как обычно, сложила свои книги: если мимо пройдет кто-нибудь интересный, их легко убрать, а неинтересных они заставят пройти мимо. В двадцать два года я обладала примитивнейшим представлением о том, кого можно считать интересным; согласно моему мерилу, я сама была малоинтересна. За соседним столом сидела пара. Голос девушки звучал все громче и громче, так что я не могла не прислушаться. “Ах, тебе места мало?” На ней была короткая голубая футболка, на шее стеклянный кулон в виде скалярии. Длинные темные волосы падали на спину растрепанным жгутом. Девушка встала и единым движением руки смахнула со стола все. У нее были очень красивые бицепсы;

помню, мне захотелось иметь такие же руки.

Тарелки попадали на пол и разбились вдребезги; кетчуп и кола пролились и смешались среди осколков. Наверное, на заднем плане звучала музыка, она сейчас всегда играет фоном, вся наша жизнь сопровождается саундтреком (и чаще всего он настолько ироничен, что вряд ли случаен; это так, к слову), но точно я не помню. Возможно, было тихо и мило, и только жир шипел на решетке.

— Годится? — спросила девушка. — И не говори, чтоб я успокоилась. Я освободила тебе место.

Она толкнула стол, закрутила и опрокинула.

— Лучше? — громко спросила она. — Кто-нибудь, выйдите на улицу, чтоб моему парню было больше места. Ему нужно до хера много места.

Она схватила стул и брякнула его на груду перемазанных осколков. Снова треск, и внезапная волна кофейного аромата.

Все вокруг замерли, не донеся вилку до рта, не подняв ложку из супа — такими людей нашли под лавой Везувия.

— Перестань, малыш, — сказал ее бойфренд один раз, но она не перестала, и он не утруждался повторять. Она перешла к следующему столу, на котором стоял только поднос с грязными

тарелками. Методично перебила все, что могла разбить, и расшвыряла все, что могла швырнуть. Солонка завертелась по полу волчком и ударилась о мою ногу.

Парень поднялся с места и, слегка запинаясь, попытался ее утихомирить. Она запустила в него ложкой, которая звучно отскочила от его лба.

— Нельзя объединяться с уродами.

Ничего мирного в ее голосе не было.

Он отпрянул и вытаращился.

— Со мной все в порядке, — заверил он публику нетвердым голосом; и затем, удивленно: — Твою ж мать! Это нападение!

— Вот этого дерьма я терпеть не буду, — сообщил он.

Здоровый парень с худым лицом, в свободных джинсах и длинном пальто. Нос как нож.

— Вперед, все тут развороти, сучка бешеная. Только ключ мне отдай сначала.

Она раскрутила очередной стул, тот просвистел метрах в полутора от моей головы — я приуменьшаю: скорее всего, гораздо ближе, — рухнул на мой стол и опрокинул его. Я схватила стакан и тарелку. Книжки громко шлепнулись на пол.

— Подходи, бери, не стесняйся, — сказала она.

Мне стало смешно: как повариха на раздаче,

только тарелки битые. У меня вырвался сдавленный смешок, странный кряк, и все обернулись в мою сторону. Сквозь стеклянные стены было видно, что народ во дворе заметил суматоху и теперь глазеет вовсю. В дверях застыли трое людей, зашедших пообедать.

— Возьму, не сомневайся.

Парень сделал несколько шагов по направлению к девушке. Та сгребла с пола несколько кубиков сахара, заляпанных кетчупом, и швырнула в него.

— С меня хватит, — сказал он. — Все кончено. Я вынесу твое барахло на лестницу и сменю замки.

Он развернулся к ней спиной и тут же получил стаканом в ухо. Споткнулся, поднес к уху руку, проверил, не осталось ли крови на пальцах. Произнес, не оглядываясь:

— Ты мне за газ должна. Пришлешь по почте.

И ушел.

Дверь за ним закрылась. На мгновение повисла тишина. Потом девушка повернулась к нам.

— Что уставились, дебилы?

Она подхватила упавший стул — не знаю, то ли швырнуть, то ли поставить на место. Думаю, она и сама не знала.

Явился полицейский кампуса. Он осторожно приблизился ко мне, держа руку на кобуре. Ко мне! Которая стояла над опрокинутыми столом и стулом, по-прежнему держа в руках уцелевший стакан молока и уцелевшую тарелку с недоеденным бутербродом.

— Поставь-ка их, солнышко, — сказал полицейский, — и присядь на минутку.

Поставить куда? И куда сесть? Единственным вертикально стоящим объектом на метры вокруг была я сама.

— Давай поговорим. Рассказывай, что случилось. Пока у тебя нет никаких проблем.

— Да не она, — сказала ему женщина за прилавком.

Крупная, немолодая — сорок или больше, над верхней губой родинка, веки насандалены так, что краска лезет в глаза. Ведете тут себя как хозяева, огрызнулась она однажды, в другой ситуации: я вернула недожаренный бургер. Но вы приходите и уходите. И даже не задумываетесь, что остаюсь-то я.

— Вон та, высокая, — продолжала она, указывая на виновницу.

Но полицейский не обратил внимания. Он сосредоточился на мне, чтобы не пропустить ни

одного моего движения.

— Успокаиваемся, — снова произнес он мягко и дружелюбно. — Пока у тебя нет никаких проблем.

Он шагнул вперед, как раз мимо длинноволосой девушки со стулом. Я поймала ее взгляд у него из-за плеча.

— Когда полицейский нужен, нипочем не дождешься, — сказала она мне и улыбнулась.

У нее была приятная улыбка. Большие белые зубы.

— Не будет мира нечестивым!

Она вскинула над головой стул.

— Не будет вам супа.

Она швырнула стул в противоположную от меня и полицейского сторону, к двери. Стул грохнулся спинкой вниз.

Полицейский обернулся посмотреть, в чем дело, и в этот момент я уронила тарелку и вилку. Честное слово, не нарочно. Пальцы левой руки разжались сами собой. Полицейский снова повернулся ко мне.

У меня в руках еще был недопитый стакан, и я приподняла его, как бы тостуя.

— Не надо, — уже гораздо менее дружелюбно проговорил полицейский. — Я с тобой не в иг-

рушки играю. Не испытывай мое терпение.

И я бросила стакан на пол. Он разбился, молоко выплеснулось мне на ботинок и забрызгало носок. Я просто не выдержала и швырнула стакан.

2

Сорок минут спустя я и сучка бешеная на раздва были закинуты в машину, принадлежавшую полиции округа Йоло (дело становилось слишком серьезным для простоватых полицейских кампуса). Причем в наручниках, которые неожиданно больно резали запястья.

Арест сильно поднял девице настроение.

— Я же сказала ему, что не случайно болтаюсь рядом, — говорила она; ровно то же самое полицейский говорил про меня, только не с торжеством, а с прискорбием. — Так здорово, что ты решила подключиться. Я Харлоу Филдинг. С театрального отделения.

Кто бы мог подумать.

— Первый раз встречаю Харлоу, — сказала я. Имелось в виду имя Харлоу. Фамилию Харлоу я встречала.

— Меня назвали в честь мамы, а ее — в честь Джин Харлоу. Потому что Джин Харлоу была *и* красивая, *и* умная, а не потому, что дед был

старый развратник. Ни в жизнь. Только, спрашивается, что дали ей ум и красота? Тоже мне, модель для подражания.

О Джин Харлоу я не знала ничего. Вроде бы она играла в “Унесенных ветром”… но я этот фильм не видела и смотреть не собиралась. Та война прошла. Хватит о ней.

— Я Розмари Кук.

— Розмарин для воспоминаний. Класс. Очень, очень приятно познакомиться.

Харлоу просунула руки под попу, а потом под ноги, так что вывернутые запястья в наручниках в конце концов оказались впереди. Если бы я исхитрилась проделать то же самое, мы смогли бы обменяться рукопожатием, на что она, видимо, и рассчитывала, но я так не умела.

Нас привезли в окружную тюрьму, где этот фокус произвел фурор. Несколько полицейских специально пришли посмотреть, как Харлоу послушно складывается и переступает через скованные руки, а потом назад. Их восхищение она приняла с подкупающей скромностью.

— У меня очень длинные руки. Что ни надену, рукава коротки.

Офицера, который арестовал нас, звали Эрни Хэддик. Когда офицер Хэддик снял фуражку, во-

лосы не упали ему на лоб, а остались примяты ровным полукругом, отчего лицо казалось милым и открытым, как смайлик.

Он снял наручники и передал нас округу на оформление. “Надеюсь, художественное”, — прокомментировала Харлоу. По всему было видно, что она в таких делах ветеран.

А я нет. Утреннее чувство дикой свободы давно испарилось, и на его место просочилась то ли грусть, то ли тоска по дому. Что я натворила? И, боже мой, зачем? Над головой, как мухи, жужжали лампы дневного света, накладывая нам тени под глаза, и мы смотрелись старыми, несчастными и с прозеленью.

— Простите, а сколько это займет времени? — спросила я как можно вежливее, сообразив, что пропускаю дневное занятие. История средневековой Европы. Всякие казематы, железные девы, костры.

— Сколько займет, столько займет, — тюремщица взглянула недобрыми зелеными глазами. — Если не надоедать мне вопросами, будет быстрее.

Но слишком поздно. Следующее, что она сделала, — отправила меня в камеру, чтобы я не болтала под руку, пока она оформляет Харлоу.

— Не волнуйтесь, шеф, — сказала Харлоу. — Скоро я буду с вами.

— Шеф? — повторила тюремщица.

Харлоу пожала плечами.

— Шеф. Лидер. Идейный вдохновитель, — она одарила меня улыбкой, сияющей, как накатанный лед. — Эль-Капитан.

Быть может, наступит день, когда полицейские и студенты колледжа больше не будут естественными врагами, но я его точно не дождусь. Меня заставили снять часы, ботинки и ремень и босиком пройти в клетку с железными прутьями и липким полом. Женщина, забравшая мои вещи, была грубее некуда. В воздухе висела крепкая вонь: смесь пива, покупной лазаньи, спрея от насекомых и мочи.

Прутья клетки доходили до самого потолка. Я проверила на всякий случай, потому что для девочки я отлично лазаю. Еще больше ламп дневного света, еще громче жужжание; одна из ламп мигала, и в камере то светлело, то темнело, как будто дни пробегали чередой. Доброе утро, спокойной ночи, доброе утро, спокойной ночи. Хоть бы мне ботинки оставили.

Мое обиталище уже делили две женщины. Одна сидела на единственном голом матрасе.

Молоденькая, чернокожая, хрупкая и пьяная.

— Мне нужен врач. — Она показала локоть: узкий порез медленно кровоточил, меняя цвет от красного до пурпурного в мигающем свете, — и закричала так внезапно, что я вздрогнула: — Мне нужна помощь! Почему мне никто не помогает?

Никто, и я в том числе, не отозвался, и она замолчала.

Вторая женщина, белая, средних лет, была нервная и худая как спичка, с густыми обесцвеченными волосами, в костюме лососевого цвета, чересчур шикарном для такой обстановки. Она только что въехала задним ходом в полицейскую машину. А всего неделю назад, по ее собственным словам, была арестована за кражу тортилий и сальсы для вечеринки, которую хотела устроить у себя дома после воскресного футбольного матча.

— Как же меня угораздило, — говорила она. — Сплошная непруха.

Наконец меня оформили. Не могу вам сказать, сколько часов прошло, не по чему было следить, но отчаяться я успела намного раньше. Харлоу все сидела перед тюремщицей, покачиваясь на шатком стуле, и под глухой стук его ножек шлифовала свое признание. Ее обвиняли в порче имущества и нарушении общественного поряд-

ка. Фигня, сказала мне Харлоу. Она нисколько не волновалась, не должна была волноваться и я. Она позвонила бойфренду, тому самому парню из столовой, который тут же приехал в участок и увез Харлоу еще раньше, чем закончилась волокита с моими бумагами.

Вот как полезно иметь бойфренда, подумала я. И не в первый раз.

Мне предъявили те же самые обвинения, но с одним значительным довеском в виде нападения на офицера, и никто уже не сказал, что это фигня.

К тому времени я убедила себя в том, что единственной моей ошибкой было оказаться в ненужное время в ненужном месте. Я позвонила родителям — а кому еще мне было звонить? — в надежде, что трубку возьмет, как всегда, мама, но она ушла играть в бридж. Мама — скандально известный шулер, удивительно, что еще находятся люди, готовые с ней играть, но такова наркотическая власть бриджа. Через час-другой мама вернется домой, сжимая в руках серебристый клатч, в котором бренчит нечестный выигрыш, и чувствуя себя немножко счастливее обычного. Пока отец не расскажет о моем приключении.

— Ты что, черт возьми, натворила? — спросил

он с усталым раздражением, как будто я оторвала его от более важных дел, но чего еще от меня ждать.

— Ничего. Наехала на полицейского в универе.

Волнение сползало с меня, как старая кожа со змеи. Отец часто так на меня действовал. Чем больше он бесился, тем спокойнее и смешнее мне становилось, что, естественно, бесило его еще сильнее. Да и кого бы не взбесило, будем справедливы.

— Чем мельче фигура, тем больше гонору, — сказал отец, моментально найдя способ использовать мой арест в назидательных целях. — Всегда полагал, что звонка из тюрьмы надо ждать от твоего брата.

Я изумилась, ведь о брате упоминали редко. Обычно отец бывал более осмотрителен, особенно когда говорил по домашнему телефону, поскольку считал, что линия прослушивается.

И я не стала говорить очевидного — что брат вполне способен попасть в тюрьму, а может, и попадет однажды, но никогда в жизни не позвонит.

Прямо над телефоном были синей ручкой накорябаны слова: “Голову не забудь”. Совет отличный, но запоздалый для того, кто отсюда

звонит. А между прочим, классное название для парикмахерской.

— Не представляю, что дальше делать, — сказал отец. — Объясни мне на милость.

— Пап, я тоже новичок.

— Не тебе острить.

И тут я вдруг так разревелась, что лишилась всех слов. Попыталась заговорить сквозь полувздохи-полувсхлипы, но безуспешно.

— Подозреваю, тебя кто-то втянул, — сказал папа уже другим тоном. — Тобой вечно манипулируют. Ладно, сиди где сидишь, — как будто у меня был выбор! — А я посмотрю, что можно сделать.

Следующей звонила крашеная блондинка.

— Угадай, где я! — сказала она бодрым хриплым голосом, но обнаружила, что ошиблась номером.

Как человек опытный и привыкший все делать по-своему, отец умудрился дозвониться до полицейского, который меня арестовал. У офицера Хэддика тоже были дети, и он отнесся к отцу с полным сочувствием, абсолютно, по мнению отца, справедливым. Скоро они уже называли друг друга Винс и Эрни, обвинение в нападении смягчилось до формулировки “вмешательство в работу полиции”, а потом его и вовсе сняли. На

мне остались порча имущества и нарушение общественного порядка, но их тоже сняли, потому что явилась насурьмленная продавщица из столовой и дала показания в мою пользу. Она твердо заявила, что я невиновна и просто оказалась рядом, а стакан разбила явно по случайности.

— Мы все были в шоке, — сказала она. — Еще бы, такая сцена, вы себе не представляете.

Но к тому времени я уже пообещала папе, что приеду на День благодарения, точнее, все четыре праздничных дня, и мы как следует обсудим проблему без посторонних. Дорого мне стоил один опрокинутый стакан молока. Даже не считая времени в кутузке.

3

Мы все знали, что целые праздники горячих дискуссий о моем аресте — фикция, хоть с меня и взяли обещание приехать специально для этого. Родители упорно делали вид, что мы тесно спаянная семья, где все любят разговоры по душам; семья, где все подставляют друг другу плечо в худую минуту. Если учесть, что в семье не хватало двух детей, это было фантастическое торжество благих намерений над реальностью; правда, я почти восхищалась. В то же время сама я знала

очень четко: мы *никогда* не были такой семьей.

Вот хотя бы секс. Родители считали себя не только учеными, поставщиками грубых фактов жизни, но еще и детьми откровенно оргиастических шестидесятых. Тем не менее почти все мои знания о сексе я почерпнула из передач канала PBS о дикой природе, из романов, хотя авторы, возможно, и сами экспертами не были, и из собственного случайного эксперимента, проделанного с полным равнодушием и оставившего больше вопросов, чем ответов. Однажды я нашла на кровати упаковку тампонов для подростков, а также брошюру, написанную так сухо и скучно, что я не стала читать. Как применять тампоны, мне никто не объяснил. Чудо, что я их не закурила.

Я выросла в Блумингтоне, штат Индиана, и в 1996 году родители еще там жили, поэтому съездить к ним на выходные было не так-то легко, и провести с ними обещанные четыре дня не получилось. Все дешевые билеты на среду и воскресенье уже раскупили, так что я прилетела в Индианаполис утром четверга, а улетела вечером в субботу.

Отца я после праздничного обеда почти не видела. Он получил грант Национального института

здоровья и радостно дал вдохновению увлечь себя в кабинет, где и провел большую часть моего визита, заполняя свою личную классную доску уравнениями типа 0' = [001] и $P(Sin+1)(1-e)q + P(S_{2n})(1-S)+P(S_{0n})cq$. Почти не ел и сомневаюсь, что спал. Перестал бриться, хотя обычно брился дважды в день, и отрастил пышную бороду. Бабушка Донна говаривала, что, когда он стоит вполоборота, его тень похожа на президента Никсона, — хотя знала, что этот якобы комплимент изрядно его бесит. Он появлялся, только чтобы налить себе кофе или забрать удочку и выйти с ней на лужайку перед домом. Мы с мамой стояли у кухонного окна, мыли и вытирали посуду и наблюдали, как он выбрасывает шнур вперед и над обледенелым краем лужайки мелькает мушка. Отец полюбил это медитативное занятие, а на заднем дворе мешали деревья. Соседи все никак не могли привыкнуть к его пристрастию.

В таком режиме работы отец не пил, что мы все одобряли. За несколько лет до того ему поставили диабет и пить запретили в принципе. В итоге он начал выпивать тайком. Мама постоянно была начеку, и я иногда с беспокойством думала, что так могла бы выглядеть совместная жизнь инспектора Жавера и Жана Вальжана, вступи они в

законный брак.

Праздничный обед в этом году устраивала бабушка Донна. Пришли мы, дядя Боб с женой и двое их детей, младше меня. Мы отмечали праздники то у одной бабушки, то у другой, поочередно, это было справедливо: почему вся благодать должна доставаться только одной стороне семьи? Бабушка Донна — мать моей матери, бабушка Фредерика — моего отца.

Еда у бабушки Фредерики почти целиком состояла из углеводов. Хорошего можно помалу — но помалу не бывало никогда. Бабушкин дом был завален дешевыми азиатскими безделушками: раскрашенными веерами, фигурками из нефрита, лакированными палочками для еды. Или вот парные лампы: абажуры из красного шелка и каменные подставки в виде двух мудрецов. У стариков были длинные тощие бородки и жуткие натуральные ногти, вставленные в каменные пальцы. Несколько лет назад бабушка Фредерика сообщила мне, что в жизни не видела места красивее, чем третий ярус Зала славы рок-н-ролла. Прямо хочется стать лучше, сказала она.

Бабушка Фредерика принадлежала к тем хозяйкам, которые считают, что запихивать в гостей вторые и третьи порции — простая вежливость. И

все же мы больше ели у бабушки Донны, где сами решали, положить себе еще или нет, где у пирога хрустела корочка, а клюквенно-апельсиновые маффины были легче облака; где в серебряных подсвечниках стояли посеребренные свечи, в центре стола лежал венок из осенних листьев, и во всем чувствовался безупречный вкус.

Передав гарнир из устриц, бабушка Донна напрямик спросила отца, над чем он работает — так бросалось в глаза, что его мысли где-то далеко. Она хотела намекнуть, что это неприлично, но отец единственный из всех то ли не заметил ее ход, то ли проигнорировал. В данный момент, ответил он, я исследую реакцию избегания с помощью цепи Маркова. Он прочистил горло, намереваясь продолжить.

Мы устремились наперерез. Мы меняли направление умело и синхронно, как стая рыб. Это было по-павловски. Наш танец воплощал реакцию избегания, чтоб ей лопнуть.

— Мама, передай индейку, — сказал дядя Боб и мягко скатился в традиционную обличительную речь о способах выращивания индеек ради белого мяса в ущерб темному.

— Бедные птицы едва ходят. Несчастные выродки.

Он тоже копнул под отца: этот дефект индейководства — еще одна издержка научного прогресса, как клонирование или смешивание кучки генов, чтобы из них получилось животное. У нас в семье враждуют, не нарушая правил поведения, и маневрируют незаметно, изображая полную невинность.

Наверное, то же можно сказать о многих других семьях.

Боб демонстративно положил себе кусок темного мяса.

— Ходят и спотыкаются с этой громадной богопротивной грудью.

Отец грубо пошутил. Каждый раз, когда Боб давал ему повод, то есть каждый второй год, он выдавал одну и ту же шутку с незначительными вариациями. Будь она остроумной, я бы ее процитировала, но нет. Вы бы стали хуже думать о нем, а хуже думать о нем — моя задача, а не ваша.

Воцарившееся молчание было наполнено жалостью к маме, которая могла бы выйти замуж за Уилла Баркера, если бы не потеряла голову и не выбрала вместо него папу — злостного курильщика, закоренелого пьяницу, горе-рыбака и атеиста из Индианаполиса. Семье Баркеров принадлежал канцелярский магазин в центре

города, а Уилл был юрист по недвижимости, но гораздо важнее оказалось то, чем он не был. А не был он психологом, как мой отец.

Жителю Блумингтона поколения моей бабушки слово “психолог” приводило на память скандальную сексологию Кинси и дикую идею Скиннера насчет ящиков для детей. Психологи не ограничивали работу стенами институтов — они приносили ее домой. Они проводили эксперименты за завтраком, превращали свою семью в шоу уродцев, и все для того, чтобы ответить на вопросы, которые вежливый человек даже не подумал бы задать.

Уилл Баркер считал, что твоя мать — само совершенство, не раз говорила мне бабушка Донна. Я часто гадала: ей вообще приходило в голову, что случись это удачное замужество, меня бы не было на свете? Интересно, с точки зрения бабушки, минус я — баг или фича?

Как мне кажется сейчас, она была из тех женщин, которые так сильно любят своих детей, что ни для кого другого уже не остается места. Внуки значили для нее много, но только потому, что значили больше всего для ее детей. Я не собираюсь ее критиковать. Я рада, что мама выросла в такой любви.

Триптофан — химическое вещество в мясе индейки, которое якобы вызывает сонливость и притупляет внимание. Одно из многих минных полей в пейзаже семейного праздника.

Минное поле номер два — качественный фарфор. Когда мне было пять, я откусила кусочек, как раз по размеру своего зуба, от уотерфордского бокала бабушки Донны, просто из интереса, получится ли у меня. С тех пор молоко мне наливали в пластмассовый стакан с Рональдом Макдональдом (он, правда, бледнел год от года). В 1996 году я доросла до вина, однако стакан остался прежний — такая вот нестареющая шутка.

Почти все, о чем мы говорили в тот год, я забыла. Но могу с точностью привести частичный перечень того, о чем мы не говорили:

Отсутствующие члены семьи. Кто ушел, тот ушел.

Переизбрание Клинтона. Двумя годами ранее дядя Боб заявил, что Клинтон изнасиловал женщину в Арканзасе, а то и не одну; мой отец отреагировал в своем духе, и День благодарения был испорчен. Дядя Боб видит мир в кривом зеркале, чей изогнутый лик перечеркнут зловещей надписью помадой: “Не верь никому”. Бабушка Донна ввела новое правило: никакой политики

— поскольку мы бы так просто друг от друга не отцепились, а ножи и вилки были у всех.

Мои собственные проблемы с законом, о которых знали только мать и отец. Родственники уже давно ждали, что я пойду по кривой дорожке; пускай еще подождут. Вообще говоря, это поддерживало в форме их самих.

Катастрофические баллы двоюродного брата Питера на проверочном экзамене перед колледжем, о которых знали мы все, но притворялись, что не знаем. В 1996 году Питеру исполнилось восемнадцать, но он с рождения взрослее меня. Его мать, моя тетя Виви, в нашу семью вписывалась не лучше, чем мой отец, — и то сказать, не самый у нас гостеприимный клуб. Ее постоянно что-то тревожило, нервировало и заставляло рыдать, а потому уже к десяти годам Питер, придя из школы, мог приготовить обед на четверых из того, что нашел в холодильнике. В шесть лет он умел делать белый соус, о чем мне с нажимом напоминал то один, то другой взрослый — тактика очевидная и ужасно нечестная.

А еще Питер, наверное, единственный виолончелист городского школьного оркестра в мире, кого в старших классах выбрали Красавцем школы. У него были темные волосы, бледные

веснушки, метелью рассыпанные по скулам, и давний косой шрам через переносицу, почти до самого глаза.

Питера любили все. Мой отец любил потому, что они вместе рыбачили и часто сбегали на озеро Лемон наводить страх на тамошних окуней. Мама любила потому, что он любил отца, а это больше никому в ее семье не удавалось.

Я любила его за то, как он вел себя с сестрой. В 1996 году Дженис была мрачной прыщавой девицей четырнадцати лет, такой же адекватной, как остальные (то есть полный привет). Однако Питер каждое утро отвозил ее в школу и потом забирал, если только не было дневной репетиции. Он смеялся ее шуткам. Он выслушивал ее жалобы. На день рождения он дарил ей духи и украшения. Когда было нужно, защищал от родителей и одноклассников. Такой хороший, что глазам больно.

Что-то он в ней видел. А кому тебя лучше знать, чем родному брату? Если брат тебя любит, это, скажу я вам, кое-что значит.

Перед самым десертом Виви спросила отца, что он думает о типовом тестировании. Отец не ответил. Он сидел, уставившись в тарелку с ямсом и чертя вилкой в воздухе кружочки и палочки, как

будто что-то писал.

— Винс! — возникла с подсказкой мама. — Типовое тестирование.

— Очень неточно.

Именно этого ответа ждала Виви. У Питера были такие высокие баллы. Он так старался. Его результат на проверочном экзамене — ужасная несправедливость. Этой минуткой конспиративного единодушия и окончился чудесный обед у бабушки Донны. Подали пирог: тыква, яблоко, пекан.

А потом отец все испортил.

— Рози так хорошо сдала проверочный, — сказал он, будто не замечая, что мы аккуратно обходим тему экзаменов, и Питеру вряд ли хочется слушать, как я отличилась.

Благовоспитанно отодвинув кусок пирога подальше за щеку, он гордо мне улыбался, а в голове у него, как крышки люков, дребезжали цепи Маркова.

— Она целых два дня не распечатывала конверт, а потом оказалось, что результаты блестящие. Особенно в гуманитарной части, — легкий кивок в мою сторону. — Разумеется.

Вилка дяди Боба со звяканьем опустилась на край тарелки.

— Это потому, что ее в детстве без конца тестировали. — Мама смотрела прямо на дядю Боба. — У нее хорошо получаются тесты. Она знает, как проходить тестирование, вот и все.

А дальше мне, как будто я не слышала последних слов:

— Мы тобой очень гордимся, солнышко.

— Мы ждали многого, — сказал отец.

— Ждем! — Мамина улыбка не дрогнула, в голосе упорно звучала радость. — Мы ждем многого.

Ее взгляд перешел с меня на Питера, потом на Дженис.

— От всех вас!

Тетя Виви прикрыла рот салфеткой. Дядя Боб изучал натюрморт на противоположной стене — гора сияющих фруктов и обмякший фазан. С естественной, богоугодной грудью. Мертвый — но разве это не часть божьего замысла?

— А помнишь, — продолжал отец, — они всем классом целую перемену играли в виселицу, потому что шел дождь, и Рози загадала слово “воскрыленный”. В семь лет. Вернулась домой в слезах: учительница сказала, что это жульничество — загадывать выдуманные слова.

(Отец ошибся: ни одна учительница в моей начальной школе так бы не сказала. Я уверена, ты

не собиралась жульничать — вот что она сказала на самом деле. В ее голосе звучало великодушие, а в глазах стояла благостность.)

— Я помню, какие Роуз получила баллы, — Питер одобрительно присвистнул. — Я и не знал, насколько это ценно. Трудный тест. По крайней мере, мне так показалось.

Зайчик. Но не спешите отдавать ему свои симпатии — он в моей повести почти не участвует.

Вечером в пятницу, мой последний день дома, мама вошла ко мне в комнату. Я набрасывала план главы для работы по средневековой экономике. Это был чистый театр: смотрите, как я усердно тружусь! Все отдыхают, а я — и тут меня отвлекла птица за окном — красный кардинал, который зло кидался на прутик, я только не успела понять из-за чего. В Калифорнии нет кардиналов, и штат от этого не выигрывает.

Шорох у двери заставил мой карандаш подпрыгнуть снова. *Меркантилизм. Монополии гильдий. "Утопия" Томаса Мора.*

— Ты знала, что в Утопии все-таки есть войны? И рабство? — спросила я маму.

Нет, она не знала.

Некоторое время она просто бродила по комнате, расправляла постель, переставляла камни

на комоде — в основном жеоды, вскрытые, как яйца Фаберже, чтобы видны были хрустальные внутренности.

Это мои каменюки. Я находила их в детстве, когда мы выбирались на карьеры и в лес, и раскалывала молотком или просто швыряя из окна второго этажа на дорожку. Но выросла я не в этом доме, и эта комната не моя. С тех пор как я родилась, мы переезжали трижды, и в этом месте родители осели, только когда я уехала учиться в колледж. Мама говорила, что пустые комнаты старого дома нагоняют тоску. Нельзя оглядываться назад. Наши дома, как и наша семья, уменьшались: каждый следующий мог уместиться в предыдущем.

Первый был за городом — большой фермерский дом, а при нем двадцать акров кизила, сумаха, золотарника и ядовитого плюща; лягушки, светлячки и бродячая кошка с глазами круглыми, как луна. Я помню не столько дом, сколько амбар, и помню не столько амбар, сколько ручей, и не столько ручей, сколько яблоню, по которой мои брат и сестра лазали к себе в спальни и обратно. Я на нее залезть не могла, потому что не доставала до нижней ветки, и года в четыре поднялась наверх по лестнице, чтобы по дереву спуститься. Я

сломала ключицу, а могла бы убиться насмерть, сказала мама, что было бы правдой, упади я с самого верху. Но я пролезла почти весь путь вниз, чего, похоже, никто не заметил. Что ты поняла? — спросил отец, и тогда я не нашлась с ответом, но теперь мне кажется, урок состоял вот в чем: твои неудачи всегда будут значить больше, чем твои успехи.

Примерно тогда же я выдумала себе подругу. Я дала ей половину своего имени, ту, что сама не использовала, — Мэри, и кое-какие частицы своей индивидуальности, в которых тоже не испытывала острой нужды. Мы проводили вместе много времени, пока не настал тот день, когда я пошла в школу и мама сказала мне, что Мэри пойти не сможет. Это был тревожный знак. Как будто мне сказали, что в школе я не должна быть самой собой, в целом виде.

Не зря предупредили, как выяснилось: главное, чему учат в детском саду, — запоминать, какая часть тебя в школе допустима, а какая нет. Чтобы вы понимали, в детском саду вам полагается гораздо, гораздо больше времени молчать, чем говорить, даже если всем гораздо интереснее слушать тебя, чем воспитателя.

— Мэри может посидеть дома со мной, — пред-

ложила мама.

Такая неожиданная хитрость со стороны Мэри была еще тревожнее. Мама не слишком-то ее любила, и как раз эта нелюбовь и составляла главную привлекательность Мэри. А тут я увидела, что мамино отношение к Мэри может измениться. Вдруг она возьмет и полюбит Мэри больше, чем меня? Посему, пока я была в школе, Мэри спала в дренажной трубе возле дома — прекрасная никто, а потом в один прекрасный день просто не вернулась домой, и по семейной традиции о ней больше не говорили.

Мы покинули фермерский дом, когда мне пошел шестой год, летом. В конце концов город накрыл его, унес строительным приливом, и теперь там сплошные тупики с новыми домами и никаких полей, амбаров и фруктовых садов. Но это произошло намного позже, чем мы съехали и переселились в дом-солонку[2] рядом с университетом, вроде бы для того, чтобы отец мог ходить на работу пешком. Именно об этом доме я думаю как о родном, а вот для моего брата это первый, фермерский; когда мы переезжали, он закатил истерику.

---

[2] Примечания: 2

Традиционный американский дом с асимметричной двускатной крышей, по форме напоминающий старинный ящичек для соли.

У “солонки” была крутая крыша, на которую мне запрещалось лазать, дворик и мало комнат. Моя спальня была по-девичьи розовая, с клетчатыми занавесками из “Сирс”. Но однажды, когда я ушла в школу, дедушка Джо, папин отец, выкрасил ее в голубой цвет, меня даже не спросив. “Комната как розочка — ночью прыгаешь как козочка. Комната как василек — ночью спишь как сурок”, — сказал он в ответ на мои протесты, видимо, питая иллюзию, что мне можно заговорить зубы стишками.

А теперь мы существовали в третьем доме, где были каменные полы, высокие окна, врезные лампы и стеклянные шкафы — воздушный геометрический минимализм, никаких ярких цветов, только песочный, овсяный и слоновой кости. Три года спустя дом оставался до странности голым, как будто бы в нем никто не планировал обосноваться надолго.

Я узнала свои камни, но не комод под ними, и не постельное покрывало — какое-то густо-серое стеганое, и не картину на стене — нечто мутное, сине-черное, то ли лебеди и лилии, то ли рыбы и водоросли, то ли планеты и кометы. Жеоды явно были здесь не к месту, и я подумала, не нарочно ли их поставили перед моим приездом, чтобы

потом снова убрать в коробку. На миг у меня мелькнуло подозрение, что все это хитроумный фарс. Когда я уеду, родители вернутся в свой настоящий дом — тот, где для меня комнаты нет.

Мама села на кровать, и я отложила карандаш. Наверняка последовала какая-то преамбула, для прочистки горла, но я не помню. Возможно, такая: “Папе обидно, когда ты с ним не разговариваешь. Ты думаешь, он этого не замечает, но он замечает”. Праздничная классика — как фильм “Эта замечательная жизнь”, редкий год мы без нее обходились.

Наконец мама подошла к главному.

— Мы с папой говорили о моих старых дневниках и что мне с ними делать. Мне они до сих пор кажутся делом скорее личным, но твой отец считает, что их нужно отдать в библиотеку. Например, бывают такие собрания, которые нельзя открывать раньше, чем через пятьдесят лет после твоей смерти, хотя я слышала, что библиотеки от этого не в восторге. Может, нам удалось бы добиться исключения для семьи.

Мама застигла меня врасплох. Она говорила не совсем, но практически о том, о чем мы решительно, ни при каких условиях не говорили. О прошлом. Сердце колотилось; я механически

ответила:

— Мам, делай, как считаешь нужным. Что считает папа, неважно.

Она бросила на меня несчастный взгляд.

— Дорогая моя, я не прошу твоего совета. Я решила отдать их тебе. Может быть, папа прав, и библиотека возьмет эти дневники, хотя, мне кажется, не такие уж они высоконаучные, как ему запомнилось. В любом случае — выбор за тобой. Может, они тебе не нужны. Может, ты еще не готова. Вороши их, как хочешь, делай бумажные шапочки. Обещаю, спрашивать не буду.

Я силилась что-то ей сказать, ответить на ее жест, при этом не касаясь темы. Даже теперь, даже зная себя столько лет, я и предположить не могу, как это сделала. Надеюсь, я сказала что-нибудь доброжелательное, великодушное. Но вряд ли.

Следующее, что я помню: мы в гостиной, входит отец с подарком — предсказанием, которое он вынул из печенья несколько месяцев назад и положил в бумажник, потому что, по его словам, оно явно для меня: “Не забывай, ты всегда в наших сердцах”.

Бывают минуты, когда история и память кажутся туманом, словно реальные вещи значат

меньше, чем желаемые. Туман поднимается, и вот они мы — хорошие родители и хорошие дети, благодарные дети, которые звонят поболтать просто так, целуют перед сном и с нетерпением ждут каникул, чтобы провести их дома. В такой семье, как моя, любовь не нужно зарабатывать и ее нельзя потерять. Всего один миг я вижу нас такими. Вижу нас всех. Исправленными и восполненными. Воссоединившимися. Воскрыленными.

4

Как бы тронута я ни была, меньше всего на свете мне хотелось брать мамины дневники. Какой смысл никогда не говорить о прошлом, если ты все его записала и знаешь, где лежат эти записи?

Дневников было два, большого формата, как альбомы для рисования, только толще, связанных вместе старой зеленой рождественской лентой. Мне пришлось выложить все вещи из чемодана и перепаковать, а потом сесть на него, чтобы застегнуть.

В какой-то момент — вероятно, на пересадке в Чикаго — чемодан унесся навстречу приключениям. По прилете в Сакраменто я час прождала его у багажной ленты, еще час вела переговоры с

людьми, чья совесть была чище некуда, а отношение к делу — хуже некуда. В последний автобус на Дэвис я вскочила с пустыми руками.

Я чувствовала себя виноватой, потому что пробыла обладательницей дневников меньше суток и уже их потеряла. И чувствовала радость, потому что в кои-то веки авиакомпания употребила свой непрофессионализм не во зло, а во благо. Возможно, я больше никогда не увижу эти записи, причем без малейшей вины со своей стороны, если не считать чрезмерной веры в способность людей делать свою работу. Я чувствовала себя везунчиком, потому что не сдала в багаж учебники.

Но сильнее всего я чувствовала усталость. Выйдя из лифта на своем этаже, я сразу услышала Джоан Осборн, поющую *“One of Us”,* и чем ближе я подходила к квартире, тем громче становилась музыка. Я удивилась, так как думала, что Тодд (мой сосед) не вернется до воскресенья, и еще думала, что Тодд противостоит всему остальному человечеству в своей нелюбви к *“One of Us”.*

Я надеялась, разговаривать ему не захочется. В прошлый раз, когда он ездил к отцу, они долго беседовали обо всем, во что верили, к чему стремились и чем были. Это было так чудесно, что

Тодд, уже успев пожелать спокойной ночи, снова спустился вниз, чтобы сказать, как они душевно близки. Остановившись на пороге, он случайно услышал, как отец говорит своей новой жене: “Осспади, что за идиот. Всегда сомневался, что он от меня”. Если Тодд возвращается домой раньше срока, это неспроста.

Я открыла дверь — на моем диване сидела Харлоу. Она закуталась в шаль, которую связала мне бабушка Фредерика, когда я болела корью, и пила мой диетический лимонад. Быстро вскочив, она убавила громкость. Ее темные волосы были скручены на макушке, из них торчал карандаш. Я поняла, что изрядно ее напугала.

Однажды на родительском собрании моя воспитательница сообщила, что я плохо соблюдаю границы.

Мне нужно научиться следить за своими руками, сказала она. Помню, как меня уязвили ее слова. Я честно не представляла себе, что другим людям может не нравиться, когда их трогают; вообще-то я думала строго обратное. Но я постоянно делала ошибки такого рода.

А теперь скажите, как полагается реагировать, если пришел домой и обнаружил у себя едва знакомого человека. Я уже была вымотана и

взвинчена. И я отреагировала так: стояла и молча ловила ртом воздух, как золотая рыбка.

— Ты меня напугала! — сказала Харлоу.

Я продолжала тупо глотать воздух.

Харлоу немного подождала.

— О боже, я надеюсь, ты не против?

Как будто только что сообразила, что я могу быть против. В голосе нотки искренности и раскаяния. Затараторила:

— Редж меня вышвырнул, он думал, у меня нет денег и некуда идти. Думал, я понарезаю круги пару часов, а потом приползу домой и буду умолять его впустить меня обратно.

Женская солидарность!

— Вот я сюда и пришла. Думала, ты до завтра не вернешься.

Разумный довод. Самообладание.

— Слушай, я вижу, ты устала.

Сочувствие.

— Сейчас оставлю тебя в покое.

Самоотверженность.

Она так старалась прочитать, что у меня на уме, но читать было нечего. Я была изможденa, до мозга своих тяжких костей, до корней своих жалких волос. Больше я ничего не чувствовала.

Ну, разве что любопытство. Совсем капельку.

— Как ты узнала, где я живу?

— Из твоего признания, в полиции.

— Как ты вошла?

Она вытащила карандаш, и волосы мягко упали ей на плечи.

— Состроила глазки и рассказала печальную историю вашему домоуправу. Боюсь, ему не слишком-то можно доверять.

Теперь в ее тоне слышалось искреннее беспокойство.

Наверное, я разозлилась во сне, потому что проснулась уже злая. Звонил телефон: авиакомпания сообщала, что мой чемодан у них и будет доставлен после полудня. Они надеются, что свой следующий полет я тоже совершу с ними.

Я пошла в туалет; оказалось, он засорен, и после нескольких бесплодных попыток спустить воду я позвонила домоуправу. Неловко было звать его разбираться с моей мочой, слава богу, что ни с чем более серьезным.

Однако он горел желанием помочь. Примчался в чистенькой рубашке с закатанными рукавами, потрясая вантузом, как саблей. Огляделся в поисках Харлоу, но квартирка была маленькая — невозможно не заметить человека, если он не ушел.

— Где твоя подруга? — спросил он.

Звали его Эзра Мецгер — имя в высшей степени поэтическое. Родители явно питали большие надежды.

— Дома с бойфрендом.

У меня не было настроения смягчать это известие. И потом, раньше я неоднократно действовала в пользу Эзры. Один раз к моей двери подошли два маловыразительных типа и начали о нем расспрашивать. По их словам, он подавал заявку на работу в ЦРУ — по-моему, ужасно, с какой стороны ни посмотри, но я все равно сказала о нем лучшее, что смогла придумать на месте: “Я его почти не вижу. Только когда он сам захочет, чтобы его видели”.

Эзра посмотрел на меня:

— Бойфренд. Она мне о нем говорила.

У него была привычка всасывать воздух сквозь зубы, так что усы заворачивались и разворачивались. Пришлось подождать, прежде чем он закончил это упражнение и сказал:

— Плохо там дело. Не надо было тебе отпускать ее назад.

— А тебе не надо было впускать ее. В пустую-то квартиру. Это вообще законно?

Эзра мне как-то признался, что мыслит себя не

столько домоуправом, сколько сердцем нашего дома. Жизнь — это джунгли, рассуждал Эзра, и кое-кто хочет с ним разделаться. Шайка на третьем этаже. Он-то их знает, но они не знают его, не знают, с кем, черт возьми, имеют дело. Ну ничего, узнают. Эзра подозревал заговор. Он разбил себе лагерь на травянистом пригорке у дома, там и жил.

Дальше он много чего сказал о чести. Теперь его усы взволнованно трепетали, и если бы вантузом можно было сделать сеппуку, он бы сделал не сходя с места. Пара секунд, и он уже уверил себя, что действовал правильно. Волнение переросло в гнев. — Знаешь, сколько женщин каждый год погибает от рук своих мужиков? — спросил Эзра. — Прости меня, скотину такую, что попытался спасти жизнь твоей подруге.

Установилась ледяное молчание. Через пятнадцать минут он выудил тампон. Не мой.

Я хотела лечь в постель, но увидела длинные темные волосы на своей наволочке и почуяла запах ванильного одеколона от простыней. Потом нашла соломинки из-под сладкого порошка “Пикси стикс” в мусорном ведре и свежие царапины на пластиковой столешнице там, где Харлоу что-то резала без доски. Она была не из тех, кто

питается воздухом. Йогурт с голубикой, который я оставила себе на ланч, исчез. Хлопнула дверь — ввалился Тодд, ходячее дурное настроение; помрачнел еще больше, узнав о набеге.

Родители Тодда — американец в третьем поколении с ирландскими корнями и американка во втором поколении с японскими корнями — друг друга ненавидели. В детстве он проводил лето с отцом, а домой привозил подробные списки неожиданных трат, рассчитывая, что мать их покроет. Замена разодранной футболки со “Звездными войнами” — 17,60$. Новые шнурки — 1,95$. Как должно быть здорово, часто говорил мне Тодд, иметь нормальную семью, как у тебя.

Когда-то он воображал себя неким экспериментальным сплавом, как будто бы в нем произошло слияние кельтской арфы и аниме. Но их несочетаемость в конце концов стала очевидна. Как он сам сказал — материя и антиматерия. Конец света.

После великой истории с идиотом Тодд при необходимости выругаться стал черпать из своего японского наследия. “Бака” (идиот). “О-бака-сан” (достопочтенный идиот). “Кисама” (придурок).

— Каким надо быть *кисама,* чтобы так себя вести? — спрашивал он теперь. — Нам что, замки менять? Ты хоть знаешь, какую прорву денег

это стоит?

Он пошел к себе в спальню проверить, все ли диски на месте, и появился снова. Я бы ушла сама, выпила кофе в городе, но приходилось сидеть дома из-за чемодана.

И — ни намека на чемодан. Ровно в пять часов я набрала номер авиакомпании — 800-ВАШУ-МАТЬ — и мне сообщили, что я должна обратиться напрямую в отдел утерянного багажа аэропорта Сакраменто. В Сакраменто никто не ответил, хотя мой звонок был очень важен для них.

Около семи зазвонил телефон, но это была мама, которая проверяла, успешно ли я добралась до дому.

— Я обещала никогда о не заговаривать о дневниках, знаю, — сказала она, — но я так рада, что отдала их тебе. Как будто гора с плеч. Ну вот. Это последнее, что я о них скажу.

Около девяти вернулся Тодд, неся примирительную пиццу из ресторана “Симпозиум”. Пришла его девушка Кимми Утида, и мы втроем сели есть и смотреть “Женаты… с детьми”, а потом на диване стало тесно, потому что Тодд и Кимми целых четыре дня не виделись. Я ушла к себе в комнату и немного почитала. По-моему, я тогда читала “Берег москитов”. Какой только

бредятины не заносят отцы в семью.

5

На следующее утро меня разбудил телефонный звонок. Авиакомпания сообщала, что мой чемодан у них и будет доставлен после полудня. А поскольку у меня занятия, они оставят его домоуправу.

Мне удалось найти Эзру только на третий вечер. А в один из предыдущих я встретилась с Харлоу. Она возникла у меня на пороге в джинсовой куртке и с тоненькими колечками в ушах, а ее волосы усыпали золотые блестки: по дороге ко мне, сказала Харлоу, расчесав пряди пальцами, она прошла через толпу празднующих. Чья-то золотая свадьба.

— Есть чем хвастаться — всю жизнь один и тот же муж, — сказала она, и тут же: — Слушай. Я знаю, ты бесишься. Это полная шиза — вламываться не спросясь. Я понимаю.

— Я уже отошла.

Тогда она сказала, что раз так, хотя еще только вторник и для традиционной еженедельной вакханалии рановато (по-моему, в 1996-м она начиналась в четверг; сейчас, мне говорили, уже в среду), она должна угостить меня пивом. Мы

пошли в центр города, мимо книжного “Суит Браер букс” и огромного помидора возле супермаркета, мимо закусочной “Джек-ин-зе-бокс” и винного “Вэлли уайн” до железнодорожной станции, напротив которой, на углу, располагался бар “Парагон”. Солнце село, но горизонт был еще багровым. В кронах деревьев гомонили вороны.

Здешнее открытое небо, плоские дворы за заборами, летний запах коровьего навоза круглый год понравились мне не сразу. Но я притерпелась к заборам, перестала замечать запах и приобщилась к небу. Смотреть на закат всегда лучше, чем не смотреть. Больше звезд всегда лучше, чем меньше звезд. То же самое я думаю о воронах, хотя есть, конечно, люди, которые со мной не согласятся. Им же хуже.

В “Парагоне” я бывала редко: народ из колледжа ходит в другие места. Здесь Дэвис вплотную приближается к низам: бар собирает тех, кто выпивает по-настоящему, они здесь *заявляют о себе* — армия немрущих мутантов, из которых большинство когда-то училось в местной старшей школе и жило по старинке, разгульно, от футбола до скейтборда, от скейтборда до пивной вечеринки. По телевизору показывали баскетбол — “Никс” против “Лейкерс”, на полную

громкость, — а в комнате звенела зомби-тоска по прошлому. Все вместе складывалось в неоднородный гул.

Похоже, Харлоу знали все. Бармен сам принес напитки. Стоило мне съесть горсточку арахиса, он подходил и добавлял орехов. Едва мы опустошали кружки, прибывало новое пиво, угощение то от одного мужика, то от другого, а когда они подходили к нашему столику, Харлоу давала им от ворот поворот.

— Очень жаль, — говорила она, широко и сладко улыбаясь, — но у нас *как раз сейчас* очень важный разговор.

Я задавала ей вопросы: откуда она (Фресно), как долго живет в Дэвисе (три года) и чем планирует заняться после колледжа. Она мечтала уехать в Ашленд, штат Орегон, делать декорации и освещение для тамошней Шекспировской труппы.

Она задавала вопросы мне: что бы я предпочла, быть слепой или глухой, умной или красивой? Могла бы я выйти замуж за ненавистного мужчину, чтобы спасти его душу? Был ли у меня хоть раз вагинальный оргазм? Кто мой любимый супергерой? Кому из политиков я бы сделала минет?

С таким пристрастием меня еще никогда не допрашивали.

Кого я больше люблю, мать или отца?

Тут мы уже ступили на опасную почву. Иногда лучше избегать разговора отмалчиваясь, а иногда — с помощью разговора. Я еще способна говорить, когда мне нужно. Я еще не забыла, как разговаривать.

И я рассказала Харлоу об одном лете своего детства, о том лете, когда мы переехали из фермерского дома. Эту историю я рассказывала часто, она выручает меня, когда люди начинают спрашивать о моей семье. Она должна казаться очень личной, как будто я раскрываюсь и копаю вглубь себя. Правда, если выкрикивать ее по частям в гремящем баре, она срабатывает хуже.

История начинается с середины, когда меня отправляют к дедушке Джо и бабушке Фредерике.

Без всякого предупреждения. Сейчас я уже не могу вспомнить, какую причину выдумали родители, в любом случае, я не купилась. Ветра роковых перемен я чуяла сразу. Мой вывод был, что я чем-то провинилась и меня отдали в другие руки.

Дедушка и бабушка Куки жили в Индианаполисе. У них был жаркий, душный дом с особенным запахом — вроде бы и приятным, но не совсем, как пахнет лежалое печенье. В моей спальне

красовалась картина с мужчиной и женщиной в карнавальных масках, а в гостиной — все эти поддельные азиатские штуки. По-настоящему поддельные. Поддельные подделки. Помните жутковатых мудрецов с настоящими человеческими ногтями? А теперь вообразите, каково засыпать в этом доме.

Другие дети на нашей улице были намного старше. Я смотрела на них из-за прозрачной двери: мне хотелось, чтобы они спросили у меня что-нибудь такое, что я знаю, но они не спрашивали. Иногда я выходила во двор, но дедушка Джо залил его бетоном, чтобы больше не возиться, поэтому в доме было даже прохладнее. Поиграв с мячом и понаблюдав за муравьями на клумбах, я возвращалась и клянчила фруктовый лед.

Дедушка с бабушкой почти все время глядели в телевизор или просто спали перед ним. Каждую субботу мне давали смотреть мультфильмы, чего дома не разрешалось, и я видела как минимум три серии “Супердрузей” — значит, провела там не меньше трех недель. Почти каждый день после обеда мы все вместе смотрели мыльную оперу. Там был тип по имени Ларри с женой Карен. Ларри работал директором больницы, а Карен в его отсутствие развлекала кавалеров, что звучало

совсем неплохо, хотя было-то, ясно, хуже некуда.

— “Одна жизнь, чтобы жить”, — сказала Харлоу.

— Да неважно.

Весь фильм я болтала без умолку, и бабушка Фредерика приходила в раздражение, хотя обычно жаловалась: дескать, свели все к сексу, смотреть невозможно, а ведь когда-то это была семейная история, которую не зазорно включить в присутствии пятилетней внучки. Но дедушка Джо говорил, что от моей болтовни сериал выигрывает. Правда, он предупредил, что настоящие люди по-настоящему так себя не ведут. Вдруг я уеду домой под впечатлением, что поменяться местами с братом-близнецом и симулировать собственную смерть или украсть ребенка у другой женщины, потому что свой умер, вполне в порядке вещей.

Но в целом делать было нечего. Каждый день одно и то же, и каждую ночь кошмары про пальцы, которые хотят тебя защипать, и арлекинские маски. Неизменная жидкая яичница на завтрак, с белыми комочками, — не ела эту гадость, но мне ее все равно готовили. “Так больше мухи и не вырастешь!” — говорила бабушка Фредерика, печально счищая яичницу в мусорное ведро. И

еще: “Не жужжи хоть минутку, я даже собственных мыслей не слышу!” Об этом люди просили меня всегда, сколько я себя помню. В ту пору мой ответ был — нет.

Потом она разговорилась с какой-то женщиной в косметическом салоне, и та сказала, что я могу приходить играть с ее детьми. К ним пришлось добираться на машине, и оказалось, что это двое здоровых мальчишек, причем один вообще переросток для своих шести лет. У них был батут, и когда у меня в прыжке взлетала юбка, всем было видно трусики. Не помню, издевались они над этим или я в принципе чувствовала унижение. Но меня это сломало: все, конец. Улучив минуту, когда про меня забыли, я вышла на улицу и собралась идти до самого дома. Настоящего дома. До Блумингтона.

Я знала, что идти долго. Кажется, мне даже в голову не пришло, что можно ошибиться дорогой. Я выбирала улицы с тенистыми лужайками и оросителями. Одна женщина спросила с крыльца, где мои родители, и я сказала, что гощу у бабушки с дедушкой. Больше она ничего не спрашивала. Наверное, я отправилась в путь довольно поздно. Мне было всего пять, и я не могла уйти далеко, как бы ни ощущала время. Вскоре стало темнеть.

Мне понравился один дом, выкрашенный в ярко-голубой цвет, с красной дверью и крошечный, как в сказках. Я постучала. Открыл человек в халате и майке. Он пригласил меня войти, усадил на кухне и приготовил стакан лимонада из порошка. Симпатичный человек. Я рассказала ему про Ларри и Карен, про арлекинов, огромных мальчишек и возвращение в Блумингтон. Он очень серьезно меня выслушал, после чего указал на изъяны в моем плане, о которых я не подумала. Если я так и буду стучаться в двери и просить обед или ужин, сказал он, не исключено, что мне придется есть невкусную еду. А в иных домах соблюдают правило — съедать все дочиста. Вдруг мне предложат брюссельскую капусту, печенку или еще что-нибудь такое, самое ненавистное. Вообще-то я и без того уже с радостью дала бы отговорить себя от похода в Блумингтон.

Поэтому я сказала ему, что мои бабушка и дедушка — Куки. Он взял телефонный справочник и сделал пару звонков разным Кукам, пока не нашел моих. Они забрали меня и на следующий же день отослали домой, ибо, заявили они, я тот еще фрукт, да и треплюсь без умолку.

— То есть у твоей мамы никто не родился? — спросила Харлоу.

— Нет.

— Просто я подумала: обычно детей отправляют к бабушкам-дедушкам как раз в таких случаях. Классика жанра.

У мамы никто не родился; у нее случился нервный срыв, но я не собиралась откровенничать с Харлоу. Вся прелесть и полезность этой истории в ее способности отвлекать людей. Поэтому я произнесла:

— Я еще не рассказала тебе самое стремное.

Харлоу смачно хлопнула в ладоши. Выпивка, как и арест, делала ее умиротворительно покладистой.

К нашему столику подошел человек в майке “Селтикс”, но Харлоу отмахнулась от него, всем своим видом давая понять, что ей все это мешает даже больше, чем мне.

— Мы как раз дошли до самого стремного, — объяснила она.

Несколько минут он отирался рядом в надежде послушать стремные вещи, но эта часть была не для первого встречного, и я дождалась, когда он выйдет.

— В голубом домике я попросилась в туалет, — сказала я, понизив голос и наклонившись так близко к Харлоу, что чувствовала ее хмельное

дыхание. — Мужик в халате указал вторую дверь направо, но мне же было пять лет, и я ошиблась — открыла дверь в спальню. И там на кровати увидела женщину. Она лежала на животе, а руки и ноги у нее были связаны колготками. Так связывают индюшек, когда суют в духовку. И ей что-то засунули в рот. Наверное, мужские носки. Когда я открыла дверь, она повернула голову и посмотрела на меня. Я не знала, что делать. И меня пронзило это яркое сознание, что происходит нечто очень, очень нехорошее. И тут…

Кто-то вошел, и в “Парагон” влетел короткий порыв холодного ветра. Дверь закрылась.

— Она мне подмигнула.

Позади Харлоу встал человек и положил ей руку на шею. Черная вязаная шапка с канадским кленовым листом. Острый нос немного кривится влево. Похож на серфингиста, но пожиже. Довольно красив, и, кажется, последний раз я видела его в столовой, под сахарным обстрелом Харлоу.

— Роуз, это Редж. О котором я тебе рассказывала с такой любовью.

Редж не узнал меня.

— Ты вроде сказала, у тебя работа.

— Ты вроде шел в библиотеку.

— Вроде какие-то проблемы со спектаклем.

Всеобщий аврал.

— Вроде у тебя страшный тест, нужно готовиться. Все твое будущее висит на волоске.

Редж схватил стул от соседнего столика и отхлебнул пива у Харлоу.

— Потом поблагодаришь, — сказал он.

— Я бы не обольщалась, — ласково проговорила Харлоу и вдруг добавила: — Любимый супергерой Розмари — Тарзан.

— Нет, — тут же отреагировал Редж. — У Тарзана нет суперсилы. Он не супергерой.

— Вот и я ей говорю!

Так и было. Любимого супергероя у меня не имелось, пока Харлоу не спросила. И я назвала Тарзана по наитию, как отвечала и на другие ее вопросы — вольно играя вольными ассоциациями. Но чем больше она критиковала мой выбор, тем сильнее я за него держалась. Со мной всегда так происходит в пылу противостояния. Спросите отца.

И когда она снова подняла эту тему, я подумала: какая трусость — притворяться, что поверила, между тем как реально врешь и ждешь, когда придет подкрепление.

Однако быть в меньшинстве не значит дать себя убедить, по крайней мере в нашей семье.

— Это с какой стороны посмотреть, — сказала я. — Силы, которые обычны для одного мира, в другом будут суперсилами. Супермена вспомните.

Но Редж не вспомнил Супермена.

— Я остановился на Бэтмене. Дальше никак.

Под сексапильной шапкой таился мозг моллюска, и я порадовалась, что не я сплю с этим типом.

6

На самом деле Берроуза я не читала; такую книгу родители бы в доме держать не стали. Я столько же думала о Тарзане, сколько о воде в кране. Редж принялся разглагольствовать о расистской природе этих книжек, а я даже не знала, сами ли книжки расистские, в чем Тарзан виноват быть не мог, или Тарзан расист, и это уже было некстати. Тем не менее я рассудила, что признание незнания мне спор не выиграет. Оставалось одно: внезапное “господи, как поздно уже” и бегство.

Я шла домой по темной сетке центральных улиц. Длинный поезд прогрохотал справа от меня под звонки и вспышки света на переездах. Холодный ветер трепал листву и кучку вяло ссорившихся мужиков около пиццерии “Вудстокс”.

Я перешла на другую сторону улицы. Один из них крикнул, соблазняя присоединиться, но очень несоблазнительно.

Тодд еще не спал, он тоже не читал Берроуза, но знал мангу на ту же тему — "Таа-тян, новый владыка джунглей" — и фанател от нее. У Таа-тя-на есть суперсилы. Совершенно точно. Тодд попытался описать мне комикс (похоже, гремучая смесь кулинарии и порнографии) и предложил в следующий визит домой взять для меня несколько выпусков, но я не поняла, должна ли я уметь читать по-японски.

Мне не удалось привлечь его внимание к своей главной мысли, что Редж — козел, потому что Тодд был слишком увлечен своей собственной, что Масая Токухиро — гений. Как бы то ни было, я засомневалась в том, что Редж вел себя так уж беспардонно. И почему я зациклилась на Тарзане? Это был неуместный треп. Наверное, слишком напилась.

Прошел день-другой, и наконец, как-то вечером, я приперла к стенке Эзру. Он получил мой чемодан, но все еще не простил меня: у него никак не получалось взять и передать его сию минуту.

— Ты слишком занят? — спросила я недовер-

чиво.

Он думает, в этом здании сколько этажей?

— Абсолютно. Если ты мне не веришь, значит, слишком мало знаешь.

Прошло еще два дня, прежде чем он открыл мне чулан для метел (там хранится такая дрянь, которой можно запросто отравить колодцы. Можно хоть весь город отравить, сказал мне Эзра. И его задача заключалась в том, чтобы держать эту дрянь подальше от рук террористов с третьего этажа) — и вытащил чемодан. Он был из твердого материала, небесно-голубого цвета.

— Ах да, забыл, — сказал Эзра, — Вчера приходил парень, якобы твой брат Трэверс. Хотел тебя подождать, но я ему объяснил, что ты будешь истериковать и шипеть, если я без спросу пущу в квартиру какого-нибудь твоего друга или родственника.

Меня разрывали чувства: сомнение, что приходил действительно брат; радостное изумление от того, что он наконец ко мне пришел; жаркая злость на Эзру, который его выставил, и как знать, появится ли брат еще раз. Трудно было чувствовать все это разом. Сердце в груди билось, как рыба на крючке.

Если мои родители время от времени полу-

чали открытку, то лично мне брат последний раз прислал весточку, когда я окончила школу. Фотография Ангкор-Вата с надписью на обратной стороне: “Мир большой. Расти большой”. Штемпель на ней стоял лондонский, значит, брат находился где угодно, только не в Лондоне. Самой убедительной деталью в рассказе Эзры было то, что брата звали не Трэверс. Он никогда бы не назвался своим настоящим именем.

— Он говорил, что вернется? — спросила я.

— Может быть. Сказал, может быть, через пару дней.

— Через пару в смысле через два или больше? Он сказал “пару” или “несколько”?

Но Эзре надоело со мной разговаривать. Он считал, что информацию следует сообщать в пределах необходимого. Всосав воздух сквозь зубы, он сказал, что точно не помнит. Был занят. Управлял домом.

В детстве брат был моим самым любимым человеком на свете. Он мог вести себя ужасно, да и вел, но бывало и по-другому. Он также мог часами учить меня играть в догонялки или в карты. “Казино”, “верю — не верю”, “джин рамми”, “рыбу”, “червы” и “пики”. Он хорошо играл в покер, но я под его руководством играла еще лучше,

отчасти потому, что была очень мала и никто не ожидал от меня такого мастерства. Мы неплохо заработали на его приятелях. Они платили брату наличными, но я забирала свой выигрыш в более универсальной валюте — коллекционных карточках “Детки из помойки”. Я собрала сотни этих карточек. Моя любимая была Багги Бетти — зеленая девочка-муха. Она так славно улыбалась.

Однажды Стивен Клэймор бросил в меня снежок со спрятанным внутри камнем, за то, что я назвала его неминучим. Это слово ему не понравилось, но реальности соответствовало: я вернулась домой с пульсирующим бугром на лбу и гравием в коленке. На следующий день брат явился в школу, заломил Стивену руку за спину и держал, пока тот не извинился. Потом брат повел меня в “Дэйри куин” и на собственные деньги купил мне трубочку в шоколаде. Позже поднялся шум — по причине и выкрученной руки, и самовольной отлучки из школ, — но в силу наших семейных норм поведения весь сюжет приобрел неясные загогулины, касавшиеся только брата, и для нас обоих это прошло без последствий.

Так что у меня было несколько причин поступать в Калифорнийский университет Дэвиса.

Во-первых, он был достаточно далеко от дома,

и никто ничего обо мне не знал.

Во-вторых, мама с папой согласились. Мы вместе съездили посмотреть кампус, и они сочли, что город практически такой же, как у нас на Среднем Западе. Особенно их заворожили широкие велосипедные дорожки.

Но в-третьих и по-настоящему, я приехала из-за брата; родители должны были об этом догадываться и питать собственные надежды. Обычно отец держал кошелек закрытым наглухо, и даже самые просторные велодорожки самых среднезападных на вид городов не заставили бы его тратиться на годовое обучение в чужом штате, когда и в Индиане полно отличных университетов, причем один из них буквально в двух шагах.

Но в ФБР нам сказали, что весной 1987-го — то есть годом ранее — брата видели в Дэвисе. Не может же правительство ошибаться во всем. Раз в год и палка стреляет и т. д. Ни в одном городе, кроме Дэвиса, следов брата не нашли.

И потом, я чувствовала, что больше не могу так, не могу быть единственным ребенком у родителей. Я воображала, как брат подойдет к моей двери, выбьет дробь костяшками пальцев, я открою, ни о чем не догадываясь, — мало ли, Эзра хочет одолжить у Тодда игровую приставку или

объявить новый регламент касательно опасного мусора. Я сразу же узнаю брата. Господи, как я по тебе соскучился, скажет он, и схватит меня в объятия. Расскажи все-все, что случилось без меня.

Когда я видела его в последний раз, мне было одиннадцать лет, и он меня люто ненавидел.

Надо ли говорить, что чемодан оказался не мой.

7

История про бабушку, дедушку и Индианаполис, которую я рассказала Харлоу, безусловно, не из середины большой истории. Рассказала я ее Харлоу именно тогда, когда здесь написано, то есть рассказ сам по себе взят из середины. Но происходить и быть рассказанным — совершенно разные вещи. Это не значит, что та моя история — неправда; это значит лишь, что я честно уже не знаю, действительно ли ее помню или только помню, как ее рассказывать.

Так язык поступает с нашими воспоминаниями: упрощает их, обездвиживает, схематизирует, мумифицирует. Часто рассказываемая история — как фотография в семейном альбоме: в конце концов она замещает собой то мгновение, кото-

рое должна была зафиксировать.

И вот теперь, с появлением брата, я стою в точке, откуда не вижу другого пути вперед, как отойти назад, к концу той истории, когда я вернулась домой от бабушки с дедушкой.

И именно в этот момент заканчивается часть, которую я умею рассказывать, и начинается часть, которую я не рассказывала никогда.

Часть вторая

...кратенький срок, может быть, в календарном измерении, однако бесконечно длинный для того, кто проскакивает по нему галопом, а ведь я это проделал, сопровождаемый на разных отрезках дистанции великолепными людьми, советами, рукоплесканиями и раскатами оркестров, но, в сущности-то, в одиночестве.

Франц Кафка
"Отчет для академии"

1

Итак, теперь у нас 1979 год. Год Козы. Земляной Козы.

Вот что вы могли бы о нем вспомнить. Маргарет Тэтчер только что избрана премьер-министром. Иди Амин бежал из Уганды. Джимми Картера ожидает операция по освобождению заложников в Иране и кризис власти. Тогда же он стал первым и последним президентом, на которого напал водяной кролик. Не везло человеку.

А вот этого вы могли и не заметить. В том же году Израиль и Египет подписали мирный договор, а в Сахаре полчаса шел снег. Была создана Лига защиты животных. Восемь человек из команды судна “Морской пастух” высадились на Мадленских островах и обрызгали более тысячи бельков безвредной, но несмываемой красной краской, чтобы спасти детенышей от охотников за мехом. Активистов арестовали и обвинили в нарушении Акта о защите тюленей, в лучших традициях Оруэлла вывернув слова наизнанку.

Песня “Мы семья” сестер Следж по радио, сериал “Дюки из Хаззарда” по телевизору. А в кинотеатрах — “Уходя в отрыв”, и город Блумингтон готовится увидеть самого себя крупным планом.

Я в то время знала только про “Отрыв”. В 1979 году мне было пять лет и у меня были свои печали. Но в городе царило такое возбуждение, что даже самые несчастные дети не устояли бы перед голливудской горячкой.

Отец наверняка посоветовал бы мне оговорить, что в пять лет я еще находилась в дооперациональ-ной стадии когнитивного и эмоционального развития по Пиаже. Он обязательно уточнил бы, что, несомненно, сейчас, с позиции взрослого человека, я ставлю свое понимание событий в

логические рамки, которых не существовало в детстве. В дооперациональной стадии эмоции дихотомичны и выражаются в крайностях.

Считайте, я это сказала.

Не то чтобы дихотомное и крайнее всегда было некстати. Давайте простоты ради сойдемся на том, что в данный момент моей истории вся семья, все до единого, стар и млад, были совершенно раздавлены.

Отец явился в столицу на следующий день после моей экспедиции от батута до голубого домика. Ему позвонили и попросили забрать меня домой, да мне об этом не сказали. Я все еще думала, что меня отдадут, только уже не бабушке с дедушкой, которым я оказалась не нужна. Куда же дальше? Кто меня теперь полюбит? Я всхлипывала молча и как можно благопристойнее, потому что отцу не нравилось, когда я ревела, а у меня еще теплилась надежда. Но никто не оценил моей геройской выдержки; отец, казалось, и не замечал, что я плачу. Никаких сомнений, он умыл руки.

Мне велели выйти из комнаты, где продолжался секретный разговор, не суливший ничего хорошего, и даже когда упаковали мою сумку, усадили меня на заднее сиденье и машина трону-

лась, я не знала, что еду домой. Но это не играло роли, потому что ехала я не туда.

В детстве, чтобы спастись от неприятностей, я предпочитала их проспать. Так я поступила и в тот раз, и проснулась в незнакомой комнате. В большой степени ее незнакомость создавали именно знакомые вещи. У окна стоял мой комод. Кровать, в которой я лежала, была моя кровать, лоскутное одеяло, которым меня укрыли, было мое одеяло, с аппликацией в виде подсолнухов от подушки до самого низа, его собственноручно сшила бабушка Фредерика, когда еще не разлюбила меня. Но в комоде было пусто, а под одеялом лежал оголенный матрас.

У окна выстроилась крепость из коробок и ящиков, в том числе один из-под пива, и через ручки было видно обложку моей собственной книги “Там, где живут чудовища”, с овальным пятном размазанного шоколада. Я забралась на ящик, чтобы выглянуть на улицу, но вместо яблони, амбара и пыльных полей за окном перед моими глазами туманно плыл чей-то двор с барбекю, ржавыми качелями и ухоженным огородом, где торчали подпорки под горох и краснели помидоры. В том доме, где жила я, такие овощи давно сорвали бы, съели или выбросили, не дав созреть

как полагается.

Дом, в котором жила я, бурчал, визжал и насвистывал; кто-нибудь обязательно бренчал на пианино, запускал стиральную машину, прыгал на кровати, красноречиво гремел сковородками или орал, чтобы все перестали шуметь, потому что невозможно говорить по телефону. А этот дом покоился в сонном молчании.

Не помню точно, что я тогда подумала. Возможно, что моя судьба — здесь жить одной. Во всяком случае, я зарыдала, снова легла в кровать и уснула. Вопреки всем оптимистическим надеждам проснулась я в том же месте, опять в слезах, и стала отчаянно звать маму.

Вместо нее вошел отец и взял меня на руки.

— Ш-ш-ш, мама спит в соседней комнате, — сказал он. — Ты что, испугалась? Бедный ребенок. Это наш новый дом. А это твоя новая комната.

— И все-все тут живут, вместе со мной? — спросила я, еще не смея надеяться на лучшее, и почувствовала, как папа вздрогнул, будто я его ущипнула.

Он опустил меня на пол.

— Смотри, какая у тебя большая комната. Я думаю, мы здесь отлично заживем. Поизучай дом, малыш. Осмотрись. Только к маме не заходи.

И указал на дверь их комнаты, как раз рядом с моей.

В старом доме полы были деревянные со вмятинами или крытые линолеумом, чтобы можно было моментально отчистить их при помощи ведра с водой и швабры. В этом доме на полу лежал колючий серебристый ковер, простиравшийся без остановки из моей новой спальни в прихожую. Здесь уже не поскользить по полу в носках. И самокат на половике не поедет.

На втором этаже находились моя спальня и родительская, отцовский кабинет с грифельной доской, которая уже стояла у стены, и одна из ванных комнат, с голубой ванной без занавески. Моя новая спальня, наверное, была больше, чем прежний светлый закуток, но я видела, что весь дом целиком меньше. А может, я и не могла этого заметить в пять лет. Спросите Пиаже.

Внизу располагались гостиная, в ней был облицованный кафелем камин, кухня, где стоял стол для завтраков, еще одна спальня, поменьше, с душем вместо ванны, а рядом — комната брата. Только на его кровати не лежали одеяла, потому что, как я узнала позже вечером, он отказался переступать порог нового дома и отправился жить к своему лучшему другу Марко, столько, сколько

его там вытерпят.

В том-то и состоит разница между мной и братом: я всегда боялась, что меня заставят уйти, а он всегда уходил сам.

Во всех комнатах стояли коробки, и почти все не распакованные. Стены и полки еще были голые. На кухне я увидела несколько тарелок, но никаких признаков блендера, тостера, хлебопечки.

Исследуя первый раз дом, в котором мне предстояло жить до восемнадцати лет, я начала подозревать, что произошло. Мне не попалось ни одного места, где могли бы работать аспиранты. Я искала снова и снова, поднималась и спускалась по лестнице, но нашла только три спальни. Одна из них — брата. Одна — мамы и папы. Одна моя. Меня не отдали в другие руки.

Отдали кое-кого другого.

Уезжая из Блумингтона, готовая окунуться в новую студенческую жизнь, я приняла осторожное решение никогда *ни за что* никому не рассказывать о своей сестре Ферн. За время учебы в колледже я ни разу не говорила о ней и редко думала. Если меня расспрашивали о семье, я ограничивалась родителями (все еще в браке) и старшим братом (заядлый путешественник). Не

упоминать о Ферн изначально было решением, потом стало привычкой, ломать которую до сих пор тяжело и больно. Даже сейчас, в далеком 2012 году, я не выношу, когда кто-то другой заводит о ней разговор. Мне нужно вклиниться самой. Мне нужно выбрать момент.

Хотя мне было всего пять лет, когда Ферн исчезла, я действительно ее помню. И помню очень ясно: ее запах и прикосновение, ее лицо — уши, подбородок, глаза — целой россыпью картинок. Ее руки, ноги, пальцы. Но я не помню ее целиком, как помнит Лоуэлл.

Лоуэлл — так по-настоящему зовут моего брата. Родители познакомились в Лоуэлловской обсерватории в Аризоне, в летнем научном лагере для старшеклассников. Отец любил говорить: “Я приехал посмотреть на небо, но увидел звезды в ее глазах”. Эта фраза всегда восхищала и смущала меня в равной мере. Юные влюбленные гики.

Я была бы лучшего мнения о себе, если бы исчезновение Ферн обозлило меня, как обозлило брата. Но в тот момент закатывать родителям скандал казалось слишком опасным, и я не возмутилась, а испугалась. К тому же в глубине души я испытала могучее, постыдное чувство облегчения, что не меня отдали, я осталась в семье.

Вспоминая об этом, я стараюсь учитывать, что мне было всего пять лет. Я хочу быть справедливой, в том числе по отношению к себе. Как было бы хорошо прийти к всепрощению, но мне пока не удается, и не знаю, удастся ли. И должно ли.

Недели в Индианаполисе у бабушки с дедушкой так и остались пограничной линией моей жизни, моим личным рубиконом. До — у меня есть сестра. После — нет.

До — чем больше я говорила, тем больше радовались родители. После — они стали как все, а все просили меня помолчать. В конце концов я и затихла. (Но ненадолго и не потому, что меня просили.)

До — брат был членом семьи. После — просто убивал время в ожидании, когда можно будет от нас отделаться.

Многое из того, что произошло до, или выпало у меня из памяти, или обстругано до сердцевины, сгустилось до главного, как в сказках. В одном селении стоял дом, и была у него яблоня во дворе, ручей и кошка с глазами круглыми, как луна. То, что происходило в течение нескольких месяцев после, я помню, как кажется, во всех подробностях и подозрительно ясно, как будто это прошлое ярко освещено. Возьмите любое воспоминание

моего детства, и я точно скажу вам, к какому периоду оно относится — когда Ферн еще жила с нами или когда ее уже не было. Все дело в том, что я помню, какой вариант меня в то время действовал — я с Ферн или я без нее. Два совершенно разных человека.

Правда, кое-что вызывает сомнения. Мне было всего пять лет. Как так может быть, чтобы я слово в слово помнила некоторые разговоры, какая песня звучала по радио, как я была одета? Почему многие сцены я помню с самой выигрышной, но нереальной наблюдательной точки и многие вещи вижу откуда-то сверху, как будто забиралась по занавескам и рассматривала свою семью из-под потолка? И почему есть одно событие, которое я помню абсолютно отчетливо, в полном цвете и объемном звучании, но всем сердцем верю, что оно никогда не происходило? Заложите эту страницу. Мы к этому моменту еще вернемся.

Я помню, что меня часто просили помолчать, но редко могу вспомнить, что именно говорила в ту пору. Этот пробел в повествовании может вызвать у вас ложное впечатление, что уже тогда я говорила мало. Поэтому прошу вас принять как данность, что я говорю безостановочно во всех

последующих эпизодах, пока не будет указано обратное.

Родители, наоборот, как язык проглотили, и остаток моего детства прошел в странной тишине. Они больше никогда не вспоминали о том времени, когда им пришлось возвращаться с полдороги домой в Индианаполис, потому что я оставила плюшевого пингвина Декстера Пойндекстера (истертого до ниток, травмированного любовью — да и кто из нас не) в туалете на заправке, хотя часто вспоминают, как наша подруга Марджори Уивер забыла ровно в том же месте собственную свекровь. Эта история почище будет, поверьте.

Не от родителей, а от бабушки Фредерики я знаю, что однажды пропала и пришлось вызывать полицию: как выяснилось, я пристала в универмаге к Санта-Клаусу, потащилась следом за ним в табачный магазин, где он покупал сигары, и даже получила в дар бумажное колечко от одной, — так что день вообще складывался удачно, а тут еще бонусом наряд полиции.

Не от родителей, а от бабушки Донны я знаю, что однажды в качестве сюрприза упрятала в тесто для пирога десятицентовик, и одна из аспиранток сломала об него зуб, и все подумали, что

это Ферн, пока я не призналась — воплощение храбрости и честности. Не говоря уже о щедрости, ведь монетка была моя.

Трудно сказать, в какие загулы и авантюры пустились мои воспоминания, столь скудно питаемые фактами. Если не считать одноклассников с их подколками, то единственными, кто часто говорил о Ферн, были бабушка Донна, пока мама не заставила ее прекратить это дело, и мой брат Лоуэлл, пока не ушел из дома. На них можно положиться, потому что у обоих были достаточно очевидные основания: бабушка хотела защитить маму от любых, малейших обвинений, а Лоуэлл отточил свои истории, и они стали острыми, как ножи.

Жила-была семья: мама, папа и две дочери, которых они обещались любить одинаково.

2

В большинстве семей одного ребенка любят больше, чем других. Родители это отрицают и, может быть, действительно не понимают, но для детей это очевидно. Неравенство их страшно огорчает. Тяжело всегда быть на втором месте.

Быть любимчиком тоже тяжело. Избранность, заслуженная или незаслуженная, давит.

Я была любимым маминым ребенком. Лоуэлл — папиным. Я одинаково любила папу и маму, но больше всех — Лоуэлла. Лоуэлл больше, чем меня, любил Ферн.

Расписанные таким образом позиции кажутся вполне благоприятными. В них найдется что-то для каждого. Есть где развернуться.

3

Несколько месяцев после возвращения из Индианаполиса были самым мучительным периодом моей жизни. Мама стала похожа на призрак. Она возникала на пороге своей спальни только по ночам и всегда в ночной рубашке — длинном одеянии из фланели в цветочек с неуместно детским бантиком на вороте. Она перестала причесываться, и волосы клубились вокруг ее лица, как дым. Глаза ее так запали, что под ними легли глубокие тени. Начав говорить, она могла поднять руки и тут же смолкнуть, поразившись этому движению, виду собственных рук в воздухе.

Она почти не ела и ничего не готовила. Эстафету принял отец, но безо всякого энтузиазма. Придя домой из университета, он начинал выяснять, что есть в доме. Помню обеды из крекеров

с арахисовым маслом, баночный томатный суп на первое и баночную похлебку из моллюсков на второе. Каждая трапеза — пассивно-агрессивный крик души.

Ежедневно к нам приходила бабушка Донна, чтобы присмотреть за мной. Но в 1979 году присмотр за мной не означал, что я все время находилась в поле зрения. Мне разрешали бродить по кварталу, как раньше разрешали бродить по угодьям вокруг фермерского дома, только теперь меня просили быть осторожнее на дороге, а не на берегу ручья. Переходить улицу без взрослых запрещалось, но обычно при такой необходимости мне удавалось кого-нибудь подцепить. С большинством соседей я так и познакомилась — переходила улицу, держа их за руку и глядя по сторонам. Помню, как мистер Беклер спросил, не тренируюсь ли я перед Олимпиадой по болтовне. А то я серьезный претендент на золотую медаль.

Детей в окрестностях было немного, и все совсем не моего возраста. У Андерсенов была новорожденная девочка Элоиза. Через два дома от нашего жил мальчик Уэйн десяти лет, а через дорогу на углу — старшеклассник. Никого, с кем мне имело бы смысл играть.

Зато я свела знакомство с местными зверями.

Моей любимицей была собака Беклера Сниппет, коричнево-белый спаниель с розовым носом. Беклеры держали ее на привязи во дворе, потому что при любой возможности она удирала и, насколько им было известно, как минимум один раз попала под машину. Я сидела со Сниппет часами, она клала голову мне на колени или ступни и слушала, навострившись, каждое мое слово. Беклеры догадались вынести для меня маленький стул, которым не пользовались, с тех пор как выросли внуки. На стул клали подушку в форме сердца.

Еще я много времени проводила одна или наедине с Мэри (помните Мэри? Воображаемую подружку, которая никому не нравилась?), что раньше со мной случалось нечасто. Не нужно было.

Бабушка Донна меняла постельное белье и стирала, но только в папино отсутствие: ей было невыносимо находиться с ним в одной комнате. Если Лоуэлл был рассержен тем, что Ферн выкинули из нашей жизни, бабушка Донна злилась оттого, что ее туда вообще впустили. Уверена, она бы это отрицала и говорила, что всегда любила Ферн, но даже я, пятилетняя, все хорошо понимала. Слишком часто при мне рассказывали, как в

мой первый день рождения Ферн выпотрошила сумку бабушки Донны и съела последнюю фотографию дедушки Дэна — полароидный снимок, который бабушка хранила в кошельке и вынимала, когда ей бывало грустно.

Если бы снимка было два, второй съела бы я, сказал Лоуэлл, потому что я почти во всем брала пример с Ферн. А еще Лоуэлл сказал, что, по мнению папы, бабушка Донна не случайно оставила сумку, наполненную разными ядовитыми штуками (по всей видимости, так оно и было), там, где ее могла достать Ферн — но не я.

Отец планировал назвать меня и Ферн в честь бабушек: подбросить монетку и определить, кому быть Донной, а кому Фредерикой, — но каждая бабушка требовала, чтобы ее именем назвали меня. Папа, который хотел сделать им приятное и где-то даже возместить ущерб, был раздосадован, когда все обернулось спором. От бабушки Донны он, может, и ждал подобного, но не от своей матери. Уже почти разверзлась бездна, уже наметилась точка разрыва в пространственно-временном континууме семейства Куков, когда мама выступила вперед и закрыла ее собой, сообщив, что я буду Розмари, а Ферн будет Ферн, потому что ей, нашей маме, хочется так. О

предыдущем плане я узнала только потому, что бабушка Донна как-то привела его в споре как очередное доказательство странности отца.

Лично я рада, что план не удался. Имя Донна мне кажется годным для бабушек, видимо, именно потому, что так зовут мою. А Фредерика? Розу как ни назови, скажете вы. И все же, боюсь, необходимость пожизненно носить имя Фредерика сказалась бы на мне пагубно. Мне бы наверняка сдвинуло мозги набекрень. (Конечно, они и сейчас не то чтобы ровно сидят.)

Ну так вот, бабушка Донна убиралась на кухне, иногда, если хватало энергии, распаковывала какие-нибудь тарелки или мою одежду: было совершенно ясно, что больше никто к коробкам не прикоснется. Она кормила меня обедом и готовила что-нибудь пользительное, например, яйцо всмятку, относила его в спальню, пересаживала маму на стул, чтобы сменить простыни, забирала в стирку ночную рубашку, умоляла маму поесть. Иногда бабушка Донна была само сочувствие и в укрепляющих дозах угощала маму разговором на свою любимую тему — проблемы здоровья и супружеской жизни неизвестных ей людей, в подробностях. Особенно бабушка была неравнодушна к мертвым; она обожала биогра-

фии исторических личностей и питала слабость к Тюдорам, которые превратили супружеские раздоры в экстремальный спорт.

Если же это не срабатывало, она раздражалась. Сидеть дома в такой чудесный день — просто преступление, говорила она, независимо от того, был ли день чудесен. Или еще: ты нужна своим детям. Или что я еще год назад должна была пойти в детский сад. (Я не пошла, потому что Ферн не могла туда ходить. Да и Мэри тоже.) И должен же кто-то приструнить Лоуэлла, честное слово, мальчику одиннадцать лет, нельзя давать ему командовать домом. Чтобы кто-нибудь из ее детей так заигрался в эмоциональный шантаж! А Лоуэллу все сходит с рук. Надо его познакомить поближе с отцовским ремнем.

Однажды она явилась к Марко с намерением силой увезти Лоуэлла домой, но вернулась посрамленная, с кислейшим выражением лица. Мальчики поехали кататься на велосипедах, куда — никто не знал, а мать Марко сказала, папа поблагодарил ее за то, что она разрешила Лоуэллу у них пожить, и она отошлет Лоуэлла домой тогда, когда папа сам попросит. У этой женщины мальчики совсем одичают, сообщила бабушка Донна маме. И к тому же она хамка.

Бабушка всегда уезжала до возвращения папы с работы и иногда просила меня не говорить, что она у нас была, потому что конспиративный элемент крепко вбит в ее ДНК, как яичные белки — в “ангельский бисквит”. Но папа, конечно, все знал. Иначе разве он оставил бы меня в доме? Позже он выносил из спальни и отправлял в помойку бабушкину стряпню. Брал себе пиво, потом еще одно, потом переходил на виски. Для меня он мазал арахисовое масло на крекер.

Ночью, лежа в своей комнате, я прислушивалась к спору: мамин голос такой тихий, что не расслышать (а может, она и вовсе не говорила), а папин (теперь я знаю) заправлен спиртным. Вы все вините меня, говорит папа. Мои собственные проклятые дети, моя собственная проклятая жена. А разве у нас был выбор? Я страдаю так же, как и все.

И наконец, Лоуэлл, появившись-таки дома, бесшумно взлетает в темноте по лестнице, входит в мою комнату и будит меня: “Если бы только, — говорит он, стискивая мне руку так, что под рукавом футболки останется синяк, ведь ему одиннадцать лет, а мне пять, — если бы только, хотя бы раз, ты закрыла свой проклятый рот”.

Никогда в жизни, ни до, ни после, я никому так

не радовалась.

4

У меня развилась фобия по отношению к закрытой двери в спальню родителей. Глубокой ночью я слышала, как она пульсирует в проеме, словно сердце. Я пользовалась каждым моментом, когда Лоуэлл впускал меня к себе, и сворачивалась калачиком рядом с ним: получалось, что я вроде и дома, и далеко от страшной двери.

Лоуэлл жалел меня иногда, а иногда казалось, он и сам напуган. Мы оба несли на себе тяжесть исчезновения Ферн и маминого срыва и временами — не подолгу — несли ее вместе. Лоуэлл читал мне книжку или просто давал тараторить вволю, пока сам раскладывал трудные, почти безнадежные пасьянсы из двух-трех колод карт. Если бы они удавались каждому, Лоуэлл и время тратить не стал бы.

Порой он, если был уже сонный, позволял мне забираться к нему в кровать поздно вечером, чтобы я не слышала отцовского крика, хотя в другой раз мог вспомнить, что злится, и я, тихо рыдая, отправлялась обратно наверх. Обычай перескакивать с кровати на кровать в доме уже укоренился: мы с Ферн редко засыпали там, где

ложились спать. Родители понимали, что это естественно и по-животному — не хотеть спать в одиночку, и хотя предпочитали, чтобы мы оставались в своих кроватях, а не брыкались и ерзали в чужих, никогда на этом не настаивали.

Пока Лоуэлл спал, я утешалась тем, что баловалась его волосами. Мне нравилось зажать прядку между двумя пальцами и провести по щекочущим кончикам. Лоуэлл стригся под Люка Скайуокера, но мастью был чистый Хан Соло. Конечно, фильма я тогда еще не видела. Была слишком мала, да и Ферн пойти не смогла бы. Но у нас были коллекционные карточки, и про стрижки я знала.

К тому же Лоуэлл, который видел фильм несколько раз, пересказал нам его в лицах. Больше всего мне нравился Люк: “Я Люк Скайуокер. Я пришел тебя спасти”. У Ферн был более тонкий вкус, и ей больше нравился Хан: “Смейся-смейся, пушистик”.

Дети не выносят несправедливости. Когда я наконец-то посмотрела “Звездные войны”, тот факт, что в конце Люк и Хан получают медали, а Чубакка нет, испортил мне все кино. В пересказе Лоуэлла этот эпизод был переделан, и я испытала немалый шок.

В комнате Лоуэлла пахло мокрыми кедровыми опилками. Всю ночь в клетке, в крутящемся колесе, попискивали и поскрипывали три мыши — изгои из отцовской лаборатории. Если подумать, есть непостижимая странность в том, что лабораторная крыса в одночасье может из элемента данных превратиться в домашнего зверька, у которого будет имя, особые права и визиты к ветеринару. Прямо сказка про Золушку! Но я задумалась об этом гораздо позже. Пока что Герман Мюнстер, Чарли Чеддер и капюшонная крыса малютка Темплтон не были для меня ничем, кроме самих себя.

От Лоуэлла тоже пахло, не противно, однако я слишком остро чувствовала его запах, потому что он изменился. Тогда я приписывала перемену его злости — ее-то я и чую, казалось мне. На самом деле он, конечно, взрослел, терял детскую сладость и приобретал горечь. Во сне его прошибал пот.

По утрам он обычно уходил, когда все еще спали. Мы не сразу узнали, что он завтракает у Баярдов. Бездетная пара, набожные христиане, жили на другой стороне улицы. У мистера Баярда было плохое зрение, и Лоуэлл читал ему вслух спортивные новости, пока миссис Баярд жарила яичницу с беконом. Лоуэлл такой сладкий пиро-

жочек, сказала она, мы ему всегда рады.

Она немножко знала о том, что произошло в нашем доме. Почти весь Блумингтон знал, но никто толком не понимал. Однажды утром она появилась на пороге, держа в руках банку печенья с шоколадной крошкой, в ангельском ореоле мягкого осеннего солнца:

— Я молюсь о вас обо всех. Просто не забывайте, что созданы по образу и подобию Божию. Держитесь крепко за эту мысль, и она проведет вас через бурю.

О боже, все подумают, что Ферн умерла, сказала бабушка Донна. Возможно, так подумали и вы, и что будь я постарше, догадалась бы об этом сама, но в пять лет без подсказки не сообразила.

Могу предположить только, что родители объяснили мне, куда пропала Ферн, а может, и не единожды, но я вытеснила это из сознания. Трудно поверить, что они ни слова не сказали. Но вот что я помню отчетливо: как каждое утро просыпаюсь и каждый вечер ложусь спать в состоянии первобытного ужаса. Я не знала его причин, но менее ужасным он от этого не становился. Скорее наоборот.

В любом случае, Ферн не умерла. Она жива и сейчас.

Лоуэлл стал посещать школьного психолога, каковой факт регулярно делался предметом отцовских ночных монологов. Что бы ни предложил психолог — прийти к нему на совет всей семьей или одним родителям, упражнения на визуализацию или гипноз, — отец взрывался. Психоанализ, говорил он, полнейшая фикция, годная только для теории литературы. Придумывая сюжет книги, может, и удобно представить, что человек способен формироваться под влиянием одной детской травмы, даже если она не доступна воспоминанию. Но где слепые исследования, контрольные группы? Где воспроизводимые данные?

По мнению отца, номенклатура психоанализа покрылась научной патиной, едва ее перевели на английский язык латинизмами. В родном немецком она была освежающе проста. (Представьте в красках, как он это выкрикивает. В доме, где я выросла, было абсолютно нормально закатить сцену, пользуясь такими словами, как “латинизмы”, “номенклатура” и “патина”.)

Между тем затея с психологом была папина. Как многие родители трудных детей, папа чувствовал: что-то надо делать, и единственное, на что его, как и многих, хватило, — психолог.

Мне же он взял няню Мелиссу, студентку колледжа: совиный взгляд сквозь очки и голубые пряди зигзагом молнии через всю прическу. В первую неделю, стоило Мелиссе появиться в доме, я ложилась в кровать и не вставала, пока она не уходила. Согласитесь, мечта бебиситтера.

Научил меня этому опыт. Когда мне было четыре года, няня по имени Рейчел высыпала мне из ложечки на язык несколько зерен кукурузы и пообещала, что они лопнут и превратятся в попкорн, при условии, что я надолго закрою рот. Это был сильнейший соблазн, я не сдавалась до последнего и переживала из-за неудачи, пока Лоуэлл не сказал, что ничего такого все равно бы не случилось. С тех пор я не доверяла няням.

Привыкнув к Мелиссе, я решила, что она мне нравится. И появилась очень кстати. Я состряпала план, как восстановить семью с помощью единственной ценности, которую могла предложить другим, — своей болтовни, но одной мне было не справиться. Я попыталась объяснить Мелиссе, в какие игры собираюсь играть ради папы и какие тесты пройти, но она то ли не поняла, то ли не захотела понимать.

Мы сошлись на компромиссе. В каждый свой приход она учит меня одному новому слову из

словаря. Единственное правило: слово должно быть такое запыленное и всеми позабытое, что не знакомо и ей самой. Значение этих слов мне было неважно, и это позволяло сэкономить время и нервы. Я, со своей стороны, обещала не разговаривать с Мелиссой в течение часа. Для верности она включала таймер духовки; в результате я обычно дергала ее каждые несколько минут, спрашивая, когда кончится час. Невысказанное теснилось в груди, меня распирало так, что я была готова лопнуть.

— Как прошел день, Рози? — спрашивал папа, вернувшись домой с работы, и я отвечала: искрометно. Или транспарентно. Или додекаэдром.

— Рад это слышать, — говорил он.

О пользе новых слов речи не шло. Взаимосвязи, разумеется, тоже не требовалось. Катахреза? Плюс балл.

Это была всего лишь попытка показать отцу, что я, по крайней мере, продолжаю наши занятия. Как только он захочет к ним вернуться, я готова вкалывать засучив рукава.

Как-то в разгар дня заявилась бабушка Донна; она заставила маму совершить вылазку в город — попить кофе и пройтись по магазинам. Лето прошло, у осени тоже кончался срок годности.

Сидеть со мной осталась Мелисса, но сидела она в основном перед телевизором.

Мелисса к тому времени стала в доме совсем своя и смотрела телевизор каждый день, хотя раньше его включали только по вечерам, полагая, что дети должны сами придумывать себе развлечения.

Мелисса подсела на мыльную оперу. Но не ту, что у бабушки с дедушкой, не про Карен и Ларри. Мелиссино мыло было про Аманду и Бена, Алана и Люсиль. И если в первом сериале все огорчительным образом свели к сексу, то второй был — чистая оргия. Мелисса разрешала мне смотреть вместе с ней, потому что я бы все равно ничего не поняла; а поскольку я ничего не понимала, мне и смотреть хотелось редко. И мы разошлись во мнениях насчет того, как тихо я должна себя вести, пока идет серия.

Мелисса начинала забываться. Она как раз научила меня новому слову, но заставила пообещать, что я не скажу его при родителях. Это было слово “итифаллический”. Если бы много лет спустя оно всплыло на проверочном экзамене, я всем дала бы сто очков вперед, но, увы, такого шанса мне не выпало. В общем-то не самое нужное слово.

Как я держу обещания, спросите у Лоуэлла. Стоило отцу вернуться, и я тут же выдала, что дела мои идут итифаллически, хотя официально слово дня было “психомантия”. Не знаю уж, сыграло ли это роль в скорой отставке Мелиссы.

В любом случае, прежде чем сказать это слово папе, я сказала его Лоуэллу. Ему полагалось быть в школе, но он рано пришел домой, проскользнул через заднюю дверь и поманил меня наружу. Я послушалась, хотя и не так тихо, как ему хотелось бы. Мои новые слова Лоуэлла не интересовали — он отбился от них, нетерпеливо прищелкнув пальцами.

На улице ждал сосед — мальчик из белого дома на углу, здоровый старшеклассник Рассел Тапман. Прислонившись к маминому голубому “датсуну”, он, втягивая воздух, закуривал мятую сигарету. Никогда не думала, что увижу Рассела Тапмана на дорожке нашего дома. Я была польщена и очарована. Я влюбилась в тот же миг.

Лоуэлл поболтал рукой в воздухе. В его кулаке звякнули ключи от машины.

— Ее точно берем? — спросил Рассел, указывая на меня глазами. — Треплется много.

— Она нам нужна, — сказал Лоуэлл.

Так что мне велели сесть назад, и Лоуэлл при-

стегнул меня. Он очень добросовестно за этим следил, даже когда машину вел не Рассел. Позже я узнала, что формально Рассел еще не получил права. Он учился на курсах и все такое, водить умел и ни одного тревожного момента во время нашей поездки я не припомню, хотя вокруг этого потом подняли много шума.

Лоуэлл сказал, что у нас секретное приключение, шпионская вылазка; мне разрешили взять с собой Мэри, потому что она умеет держать рот на замке и послужит нам примером. Я всему этому страшно радовалась и страшно гордилась, что еду с большими мальчиками. Теперь-то я понимаю, что между Лоуэллом одиннадцати лет и Расселом шестнадцати был огромный разрыв, но в то время они пленяли меня одинаково.

А еще мне тогда отчаянно хотелось выбраться из дома. Как-то мне приснилось, что кто-то стучит в родительскую дверь изнутри. Сначала в веселом ритме чечетки, только с каждым ударом все громче, и под конец так, что у меня едва не лопнули барабанные перепонки. Я проснулась в ужасе. Простыня подо мной намокла, и пришлось звать Лоуэлла, чтобы он поменял мне пижаму и перестелил постель.

Рассел переключил радиостанцию с маминой

на студенческую WIUS. Заиграла песня, которую я не знала, что не помешало мне подпевать с заднего сиденья, пока Рассел не сказал, что я адски действую на нервы.

Адски. Я произнесла это несколько раз, но тихонько, так чтобы Рассел не услышал. Мне нравилось, что нужно прищелкивать языком.

Ветровое стекло мне видно не было, только затылок Рассела, прыгавший у подголовника. Я попыталась сообразить, как же понравиться Расселу. Каким-то чутьем я знала, что умными словами его сердце не завоюешь, но не могла придумать, что бы еще ему предложить.

Прозвучало уже много песен и реклама оригинальной радиопьесы к Хэллоуину. Потом был звонок от слушателя, он рассказал о профессоре, который заставлял всю группу читать “Дракулу”, даже христиан, считавших, что это опасно для души. (Остановимся на минутку и представим, каково живется в наше время человеку, который уже в 1979 году чувствовал избыток вампирщины. И двинемся дальше.)

Еще звонки. Большинству “Дракула” нравится, кому-то нет, но никому не нравятся профессора, которые указывают тебе, что читать.

Машина начала подпрыгивать, я услышала

хруст гравия под колесами. Мы приехали. Я узнала яркую крону тюльпанового дерева на подъезде к старому фермерскому дому, его золотые листья, парящие в бело-синем небе. Лоуэлл вышел отпереть ворота, снова сел в машину.

Я не знала, что мы едем сюда. Хорошее настроение сменилось тревогой. Хотя никто мне об этом не говорил, да и вообще говорилось мало, я предполагала, что Ферн осталась жить в бывшем нашем доме вместе с аспирантами. Мне виделось, что живет она по-старому, может быть, даже не так страдает от разрыва, как я: скучает по маме, конечно (как и все остальные), но меньше по папе, который по-прежнему заезжает понаблюдать за учебой, за играми с изюмом и фишками для покера. Через пару месяцев ей исполнится шесть лет, и ей наверняка преподнесут, по ежегодной традиции, праздничный торт в сахарных розочках, которые мы обе так любили. (По крайней мере, не могу доказать обратное про нее.)

Я размышляла так: грустно, что она совсем не видится с нашей мамой, и мне не хотелось бы оказаться на ее месте, но вообще, это не *так уж* грустно. Аспиранты были очень милые и никогда не кричали, потому что им не разрешалось и потому что они любили Ферн. Ее они любили

больше, чем меня. Иногда я обвивалась вокруг их ног, отказываясь отпускать, просто чтобы привлечь к себе внимание.

Мы уже двигались по дорожке к дому. Ферн всегда слышала машину издалека — она уже возникла бы у окна. Я толком не знала, хочу ли видеть ее, но точно знала, что она меня видеть не захочет.

— Мэри не хочет встречаться с Ферн, — сказала я Лоуэллу.

Лоуэлл крутанулся назад и взглядом прищуренных глаз пригвоздил меня к месту.

— О господи! Ты что, думала Ферн еще тут? Ё-мое, Рози!

Я еще ни разу не слышала, чтобы Лоуэлл сказал “ё-мое”. Теперь я не сомневаюсь, что он пытался произвести впечатление на Рассела. Это слово мне тоже понравилось выговаривать. Йо-йо-йо. Ой-ёй-ёй.

— Не будь таким ребенком, — сказал Лоуэлл. — Там никого нет. Дом пустой.

— Я не ребенок.

Это я ответила машинально: трудно обижаться, когда испытываешь такое облегчение. Значит, никакого болезненного воссоединения. Знакомые кроны деревьев плыли вверху, как золотые

облака, а под колесами знакомо шелестел гравий. Я вспомнила кусочки кварца, чистые и прозрачные, которые находила на этой дорожке. Они, как четырехлистный клевер, попадались достаточно часто, и я все время их высматривала. Перед новым домом гравия не было, так что и искать было нечего.

Машина остановилась. Мы обогнули дом и подошли к кухонной двери, но она была заперта — все двери заперты, сказал Лоуэлл Расселу, и окна тоже. Даже верхние окна в последний год забрали решетками, так что путь от яблони к спальням был отрезан, едва я успела его испробовать.

Единственной надеждой оставался собачий лаз на кухне. Никакой собаки я не помню, но якобы когда-то у нас была здоровенная терьерша по имени Тамара Пресс[3], и якобы мы с Ферн обожали ее до умопомрачения и прямо на ней спали, пока она не умерла от рака — как раз перед тем, как мне исполнилось два года. В отличие от большинства таких дверок наша запиралась снаружи.

Лоуэлл отодвинул щеколду. Мне велели про-

[3] Примечания: 3

Тамара Пресс (р. 1937) — олимпийская чемпионка в метании ядра и диска (СССР).

лезть внутрь.

Я упиралась. Мне было страшно. А вдруг дому обидно, что я в нем больше не живу, что я его бросила?

— Это всего-навсего пустой дом, — подбадривал меня Лоуэлл. — И Мэри с тобой пойдет.

Даже я бы не подумала, что Мэри пригодится в драке. Мэри никуда не годилась. Мне нужна была Ферн. Когда Ферн вернется домой?

— Эй, мелочь, — сказал Рассел. Он обращался ко мне! — Мы на тебя рассчитываем.

И ради любви я полезла.

Я пробралась в кухню через собачий лаз и выпрямилась в луче солнечного света. Вокруг меня, как блестки, метались и сверкали пылинки. До сих пор я не видела кухню пустой. Там, где стоял стол для завтрака, потертый линолеум сохранил гладкость и блеск. Однажды мы с Ферн спрятались под этим столом и втихомолку рисовали на полу фломастерами. Следы нашего творчества еще можно было разглядеть, если знать, где искать.

Звенящая пустота сомкнулась вокруг меня и стиснула так, что стало трудно дышать. Кухня бурлила от ярости, я это чувствовала, только не знала, дом так страшно злится или Ферн. Я

поспешно открыла дверь, и как только вошли Лоуэлл и Рассел, дом разжал тиски. Он больше не злился. Но сделался грустный до слез.

Мальчики пошли вперед, о чем-то едва слышно переговариваясь, и я последовала за ними, томясь подозрениями. В доме было так много вещей, по которым я скучала. Я соскучилась по широкой лестнице. Мы брали кресла-мешки и соскальзывали по ней вниз. Соскучилась по нашему подвалу. Зимой в нем всегда стояли корзины с морковью и яблоками, которые можно было сколько угодно таскать без спросу, только сначала нужно было спуститься во мрак. Сейчас мне не хотелось спускаться во мрак, разве что вместе с мальчиками, а если бы спустились они, то я не хотела бы идти последней.

Мне не хватало здешнего простора и шумной жизни. Двора, который не охватить взглядом. Амбара, лошадиных стойл, забитых ломаными стульями и велосипедами, журналами, люльками, детскими колясками и автокреслами. Ручья и кострища, где мы летом жарили картошку и воздушную кукурузу. Банок с головастиками, которые мы держали на крыльце в натуралистических целях. Потолков, разрисованных созвездиями. Карты мира на полу в библиотеке

— можно было принести ланч и поесть сидя в Австралии, или в Эквадоре, или в Финляндии. По западному краю карты вилась надпись красными буквами: “Я ладонями покрываю всю сушу”[4]. Моя ладонь не покрывала даже Индианы, но я могла найти ее по очертаниям. Еще немного, и я смогла бы прочитать слова. До переезда мама учила меня по математическим книжкам отца. “Произведение двух чисел дает число”.

— Что за пещера ужасов, — сказал Рассел, и все вокруг тут же лишилось блеска.

Что за дыра. В новом доме у меня комната больше, чем здесь.

— А лужайка еще под током? — поинтересовался Рассел.

Участок травы перед домом был утыкан одуванчиками, клевером и лютиками, но его прежнее назначение еще угадывалось.

— Ты о чем? — спросил Лоуэлл.

— Слыхал, если шагнуть на траву, получишь удар током. Будто здесь всюду электрическая проволока, чтобы народ не совался.

— Нет, — сказал Лоуэлл. — Трава как трава.

Мелиссин сериал наконец-то кончился, и она

---

[4] Примечания: 4
Уолт Уитмен “Песня о себе”. Перевод К. Чуковского.

заметила, что меня нигде нет. Она прочесывала квартал вдоль и поперек, пока Баярды не заставили ее позвонить отцу, который как раз обнаружил, что Лоуэлл сбежал с уроков. Отец вынужден был отменить занятие; этот факт в последующие несколько дней повторяли нам неоднократно — что мы причинили неудобство не только ему, но и целой группе студентов. Как будто его отсутствие не скрасило им всю неделю. Добравшись до дому, он увидел, что пропала машина.

Поэтому, когда мы вернулись, он не спросил, вынимая меня из машины, как прошел день. Что не помешало мне рассказать.

5

Вы еще не всё знаете о Мэри. Воображаемая подруга моего детства не была девочкой. Это была маленькая шимпанзе. Как и моя сестра Ферн, разумеется. Кто-то из вас уже об этом догадался.

Остальные, быть может, думают, что так долго скрывать обезьянью природу Ферн — неуместное кокетство с моей стороны.

Но я могу привести аргументы в свою защиту. Тот факт, что меня воспитывали вместе с шимпанзе, определил первые восемнадцать лет моей

жизни. Чтобы оставить этот факт позади, мне пришлось уехать за полстраны. Таким не будешь делиться с людьми при знакомстве.

Но что гораздо, *гораздо* важнее, я хотела показать вам, как все было на самом деле. Я говорю вам, что Ферн — шимпанзе, и вы тут же перестаете думать о ней как о моей сестре. Вы думаете, что мы ее любили, как любят домашнего питомца. Когда Ферн уже не было с нами, бабушка Донна сказала мне и Лоуэллу, что после смерти нашей собаки Тамары Пресс мама была безутешна — подразумевалось, в точности как сейчас. Лоуэлл передал это отцу, и мы все так обиделись, что бабушка Донна тут же пошла на попятный.

Ферн — не любимая собака. Сестренка Лоуэлла, его тень, его друг не разлей вода, вот кто она была. Родители обещали любить ее как собственную дочь, и много лет я задавалась вопросом: сдержали они свое обещание или нет. Я стала внимательнее слушать истории, которые они мне читали, а скоро я и сама начала читать, пытаясь узнать, насколько крепко любят родители своих дочерей. Я была и сестра, и дочь и искала ответ не только ради Ферн.

В книгах мне попадались дочери угнетенные и дочери избалованные, говорливые и печально

молчаливые. Дочери, заключенные в темницы, побитые и низведенные в служанки, дочери любимые, но отправленные вести хозяйство у безобразного чудовища. Те дочери, которых отсылали из дома, чаще всего были сироты, как Джейн Эйр и Энн Ширли, но не обязательно. Гретель с братом отвели в лес и бросили там. Дайси Тиллерман с сестрой и братьями оставили на парковке перед торговым центром. Сару Крю, которую отец обожал, все-таки увезли жить в пансион. В общей сложности примеров набралось предостаточно, и история Ферн легко вписывалась в общую картину.

Помните старую сказку, которую я упомянула в самом начале книги, — про то, как у одной сестры слова превращались в цветы и каменья, а у другой — в жаб и змей? Вот конец этой сказки: старшую сестру заводят в лес, где она умирает, несчастная и одинокая. Собственная мать отвернулась от нее, говорится в сказке, и мне от этого становилось настолько не по себе, что лучше бы я вообще ее не слышала. Еще задолго до расставания с Ферн я попросила маму больше никогда не читать нам эту историю.

Хотя, возможно, последний момент я придумала, от огорчения и тревоги. Может быть,

лишившись Ферн, я поняла, что должна была чувствовать и задним числом изменила воспоминание. Люди так делают. Постоянно.

Пока не изгнали Ферн, я ни минуты не сидела одна. Она была мой близнец, мое смешное кривое зеркало, моя неугомонная вторая половина. Важно, что я была для нее тем же самым. Я могла бы сказать, что любила ее как сестру, ведь и Лоуэлл любил ее так же, но у меня она была единственной сестрой, поэтому не уверена: это эксперимент без контрольной группы. С другой стороны, когда я впервые прочитала “Маленьких женщин”, мне подумалось, что я любила Ферн если и не так сильно, как Джо — Бет, то не меньше, чем Джо — Эми.

В то время мы были не единственной семьей, которая попыталась вырастить детеныша шимпанзе как человеческого ребенка. Полно таких семей бродили по супермаркетам города Норман, штат Оклахома, где доктор Уильям Леммон щедро прописывал шимпанзе своим ученикам и пациентам.

Более того, мы были не единственные, кто растил шимпанзе одновременно с ребенком, хотя только мы последовали за Келлогом, экспериментатором тридцатых годов, и растили

их двойняшками. У большинства обезьяновладельцев семидесятых ребенок был значительно старше детеныша и в эксперименте не участвовал.

Мы с Ферн воспитывались насколько это возможно одинаково. Готова биться об заклад, что была единственным ребенком в стране, кому приходилось отказываться от всех приглашений на дни рождения, в основном чтобы не принести домой простуду: маленькие шимпанзе ужасно восприимчивы к респираторным инфекциям. За первые пять лет моей жизни мы были в гостях только однажды; я этого даже не запомнила, но Лоуэлл говорил, что произошел неприятный инцидент, в котором оказались задействованы пиньята[5], бейсбольная бита и много разлетевшихся конфет, а кончилось все тем, что Ферн укусила за ногу именинницу Берти Каббинс. Укусить не своего, а чужого — видно, и правда большой проступок.

Конечно, я могу только предполагать, но другие семьи с шимпанзе жили иначе. Ферн, безусловно, очень сильно чувствовала любой фаворитизм и реагировала на него едко и метко. Шимпанзе не

[5] Примечания: 5

Фигура из папье-маше, по которой нужно с завязанными глазами попасть палкой, чтобы добыть спрятанные внутри сюрпризы.

выносят несправедливости.

Мое первое воспоминание, больше осязательное, чем визуальное, — я лежу рядом с Ферн, ее шерсть щекочет мне щеку. Она принимала ванну и пахнет клубничным мылом и мокрым полотенцем. С редких белых шерстинок на подбородке еще свисают капельки воды. Я смотрю на них, прижавшись к ее плечу.

Я вижу ее руку, она сжимает и разжимает пальцы с черными ногтями. Наверное, мы были совсем маленькие, потому что ладонь у нее еще мягкая, розовая и в складочках. Она протягивает мне большую золотистую изюмину.

Тарелка изюма стоит перед нами на полу, и я думаю, он предназначен не мне, а Ферн, это ее приз, но какая разница, ведь она со мной делится: изюмина ей, изюмина мне, еще одна ей, еще одна мне. В этом воспоминании я страшно довольна.

А вот другое, более позднее. Мы в отцовском кабинете, играем в “похоже — непохоже”. Вариант игры для Ферн такой: ей показывают два предмета, например, два яблока или яблоко и теннисный мячик. У нее в руке две покерные фишки, красная и синяя. Если она считает, что предметы одинаковые, то должна дать студентке Шерри, своей партнерше, красную фишку. Синяя

означает различие. Пока неясно, поняла Ферн игру или нет.

Между тем для меня это уже слишком просто. Я работаю с Эми, которая задала мне несколько рядов по четыре предмета в каждом. Меня спрашивают, какой предмет выпадает из ряда. Есть довольно заковыристые случаи. Котенок, утенок, лошадь и медвежонок превращаются в кота, утку, лошадь и медведя. Я полюбила эту игру, особенно когда папа объяснил, что в ней нет правильных и неправильных ответов: им просто нужно видеть, как я думаю. Мне досталась игра, в которой не проиграть, да еще я могу сообщать всем и каждому все, что я думаю, пока играю!

Я размышляю над выбором и одновременно рассказываю Эми, что знаю об утках, лошадях и так далее и кого из них видела живьем. Если бросить уткам хлеб, то все съедят большие утки, а маленьким ничего не достается, вещаю я. Так же нечестно, правда? Нехорошо так делать. Хорошо делиться.

Я говорю Эми, что ни разу не каталась на лошади, но когда-нибудь прокачусь. У меня будет собственная лошадь по имени Звездочка или Искорка. А Ферн, небось, на лошади ездить не сумеет? — спрашиваю я. Мне нравится отыскивать

вещи, которые я делать могу, а Ферн — нет.

— Может, и не сумеет, — отвечает Эми, записывая мои слова. Жизнь прекрасна.

Но тут Ферн раздражается, потому что ей не разрешают съесть яблоки. Она прекращает игру, подходит, и ее шершавый лоб полочкой упирается в мой плоский, янтарные глаза смотрят прямо в мои. Она так близко, что я глотаю ее дыхание. Я чую, что она расстроена: к обычному запаху, как будто мокрого полотенца, примешивается что-то остренькое, чуть едкое.

— Отстань, Ферн, — говорю я и слегка ее отпихиваю. Я же работаю, в конце концов.

Она немного бродит по комнате, показывая жестами, что хочет яблок, и бананов, и конфет, и еще чего-нибудь вкусного, но тщетно: ее желания не материализуются. Тогда она принимается прыгать взад-вперед с папиного стола на большое кресло. Ее любимая желтая юбка с черными дроздами задирается в прыжке, так что видно подгузники. Губы вытянуты в трубочку, личико голое и бледное. Я слышу тихое уханье, которым она обычно выражает беспокойство.

Ее прыжки — не развлечение, но мне так не кажется. Я тоже забираюсь на папин стол, и никто не говорит “нельзя” или даже “осторожно”:

если Ферн этого не сказали, то теперь и мне не скажешь. Свалившись, я слышу смех Ферн. Все ахают: обычно шимпанзе смеются только при физическом контакте. До сих пор Ферн смеялась, если ее догоняли или щекотали. Насмешка — отчетливо человеческая черта.

Отец просит Шерри и Эми внимательно слушать смех Ферн. Этот звук регулируется ее дыханием, поэтому она смеется, как будто пыхтит. Возможно, предполагает отец, Ферн не способна в течение цикла вдохов и выдохов удерживать один и тот же звук. Что это дает для понимания развития речи? Судя по всему, никого не волнует, что Ферн вредничала, хотя по мне это ключевой момент.

Мою жалобу на больной локоть все проигнорировали, а это оказался перелом, и папа в качестве извинения дал мне посмотреть рентген. Тоненькие трещины, как на фарфоровой тарелке. Сломать кость — дело серьезное, и я немного утешена.

Но не совсем. То, что могу делать я и не может Ферн, — жалкий холмик по сравнению с горой тех вещей, которые доступны одной Ферн. Размером беру я, это вроде бы преимущество, но Ферн в разы сильнее. Единственное, что я делаю

лучше, — разговор, но мне не очевидно, что это большой плюс, что его не так легко променять на умение резво взлетать по перилам или растягиваться по-кошачьи на двери в кладовку.

Вот чтобы сравнять счет, я и придумала Мэри. Она умела делать все то же, что Ферн, и даже больше. И она-то свои таланты использовала во благо, а не во зло. Иными словами, действовала под моим руководством и от моего имени.

Хотя изначально мною двигало желание изобрести себе подружку, которую никто не любил бы сильнее, чем меня. Мэри получилась вроде таблетки, и это лучшее, что в ней было.

Через несколько дней после путешествия на старое место мы с Мэри сидим в ветвях клена, растущего во дворе у Рассела Тапмена, и заглядываем в окно кухни, где его эльфообразная мама в лоскутной жилетке застелила стол газетой и принялась потрошить тыкву.

Почему мы сидим на клене? Потому что это единственное дерево на участке, куда мне легко залезть. Основание ствола разделилось натрое, один ствол лег почти параллельно земле, и поначалу я просто иду как по мосту, держась за ветки для равновесия. Выше мне уже приходится лезть, но веток много, и лезу я легко, как по лестнице.

Возможность заглянуть сквозь ветки в окна к Расселу — всего лишь бонус. Естественно, мы пришли сюда лазать, а не шпионить.

Мэри сумела забраться выше, чем я, и сказала, что видит всю улицу вплоть до крыши дома Баярдов. Еще она сказала, что видит комнату Рассела. Он прыгает на кровати.

Но она соврала: я тотчас увидела, как Рассел выходит из двери кухни и направляется прямо ко мне. На дереве еще остались клочки красной листвы, и я надеялась, что они скрывают меня. Я сидела тихо-тихо, пока Рассел не оказался строго подо мной.

— Ты что там делаешь, мелочь? — спросил он. — И что ты там высматриваешь?

Я сказала, что его мама режет тыкву. Только я употребила слово “анатомирует”. Однажды, на старом месте, Лоуэлл нашел у ручья мертвую лягушку и вместе с отцом провел полдня, анатомируя ее на обеденном столе, вскрывая влажный орешек ее сердца. Я не это имела в виду, но теперь от зрелища Расселовой мамы, терзающей тыквенное нутро, у меня подвело живот, а рот наполнился слюной. Я судорожно сглотнула и перестала смотреть в окно.

Я стояла на ветке, уцепившись за другую,

непринужденно покачивалась и говорила. Вы бы ни за что не догадались, что у меня в желудке буря. Сама светскость.

— Девочка-обезьянка, — сказал Рассел (с этим словом я познакомлюсь близко, когда пойду в школу). — Ну ты и псих.

Но тон его был мягок, и я не обиделась.

— Скажи своему брату, его деньги у меня.

Я снова заглянула в кухню. Мама Рассела горстями вырывала из тыквы внутренности и шлепала их на газету. Голова у меня разом опустела, а ноги задрожали, и на миг я подумала, что упаду или, хуже того, меня вырвет.

Тогда я расставила ноги пошире, для устойчивости, но ветка была тонкая и гибкая — неожиданно она согнулась под моим весом, и вот я уже скольжу вниз, обрывая по дороге сучки и листья. Я приземлилась на ноги и тут же упала на попу. Руки были все в царапинах.

— Да что с тобой такое? — спросил Рассел и указал пальцем на мои штаны: как раз между ног осталось пятно от листьев. Описать не могу, какое это было унижение. Я понимала, что штаны в этом месте — не предмет для взглядов и разговоров. И что осенне-красного пятна там быть не должно.

Через несколько дней Рассела повинтила полиция. Бабушка Донна рассказала, что на Хэллоуин он закатил вечеринку в фермерском доме. Все окна перебиты, говорила она, а одна несовершеннолетняя девочка провела ночь в больнице.

Слова передают многое настолько неточно, что иногда я удивляюсь, зачем мы вообще ими пользуемся. Вот как я это услышала: Ферн, как полтергейст, пронеслась сквозь время и пространство и разнесла дом, где когда-то жили мы все. Разбитые стекла могли быть приветом лично мне. Однажды мы с Ферн запустили в окно крокетным шаром и страшно веселились, хоть нам и влетело. Но разбить каждое окно? На шалость не похоже. В этом есть точность и методичность гнева.

А вот что хотела сказать мне бабушка Донна: я уже достаточно большая, чтобы понять, как опасно смешивать алкоголь и наркотики. Она надеется, что не доживет до того дня, когда мне будут промывать желудок. Это разбило бы мамино разбитое сердце.

6

А в одно прекрасное утро, внезапно, как по щелчку, мама пришла в норму. Я проснулась

от того, что наверху весело распрыгались ноты “Рэгги кленового листа” Скотта Джоплина. Мама уже встала и, как раньше, звала нас на завтрак игрой на пианино, выгибая руки и притаптывая педалью. Она приняла душ и приготовила еду, скоро снова начнет читать, а потом и говорить. А папа неделями не будет пить спиртного.

Стало легче, но не слишком, ибо нельзя особенно рассчитывать на хорошее, когда видел плохое.

Рождество мы провели в Вайкики. Санта-Клаус там ходил в шортах и вьетнамках, а рождественского духа не было в помине. С Ферн мы путешествовать не могли; теперь могли, и нам нужно было вырваться из дома. В прошлом году Ферн без остановки включала и выключала елочные огни, сколько мы ни просили ее перестать. Звезду на верхушку елки по традиции всегда надевала она.

Ферн прячет подарок в шкафчик на верхнем этаже, но выдает себя радостным уханьем. Ферн подбрасывает в утренний рождественский воздух бумажную сломку, которую кладут в коробки с подарками, запихивает ее нам за шиворот, как снег.

Я первый раз летела самолетом. Облака лежали

под нами, как волнистое одеяло. Гавайи приятно пахли, даже в аэропорту, плюмерией было пропитано все от ветра до шампуней и мыла в отеле.

Море у берега было мелкое, даже я могла зайти далеко. Мы часами не вылезали из воды, качались на волнах, и когда я ночью лежала на кровати, которую мы делили с Лоуэллом, у меня еще шумело в ушах. В той поездке я и научилась плавать. Родители вставали там, где море было спокойнее, и ловили меня, а я барахталась от одного к другому. Ферн бы точно так не смогла, думала я, но родителей об этом не спрашивала.

За завтраком я поделилась своим откровением: мир разделен на две части, верхнюю и нижнюю. Когда ныряешь с маской, попадаешь в нижнюю часть, а когда забираешься на дерево — в верхнюю, и там, и там одинаково здорово. Помню, была твердо убеждена, что высказываю интересную мысль и за мной следовало бы записывать.

“Если тебе хочется сказать три вещи сразу, выбери одну и скажи только ее”. Многие месяцы после ухода Ферн те две мысли, которые я держала при себе, всегда были именно о ней. На Гавайях я думала — но не говорила, — что Ферн хорошо лазает, а зато я хорошо ныряю. Пусть бы она была рядом и видела это. Пусть бы она была рядом,

ухала над куском пирога с густым шоколадом, взбиралась на пальмы, как Человек-Паук.

Ей бы так понравился шведский стол на завтраках.

Она мерещилась мне повсюду, но об этом я не говорила.

Вместо этого я усиленно пыталась разглядеть в маме признаки срыва. Она качалась на спине в океанских волнах, лежала в шезлонге у бассейна с коктейлем май-тай, а в тот вечер, когда танцевали хулу и распорядитель начал вызывать добровольцев, выскочила первой. Я помню, какая она была красивая: загар, цветочный ручей вокруг шеи, руки плавные и текучие — “мы закинули в море невод, и все ама-ама сразу поплыли ко мне”.

Она ведь образованная женщина, как осторожно сказал папа за обедом в последний вечер. Умная женщина. Почему бы ей не устроиться на работу, чтобы не сидеть безвылазно дома, тем более что я теперь буду ходить в детский сад.

Я впервые услышала, что пойду в детский сад. Не так уж часто мне доводилось общаться с другими детьми. И по глупости я обрадовалась.

За окном ресторана сверкало море, менявшееся от серебра к черноте. Мама коротко согласилась,

как соглашаются, когда не хотят развивать тему, и отец уловил сигнал. В то время все мы чутко ловили ее сигналы. Мы были внимательны друг к другу. Ходили на цыпочках.

Так продолжалось много месяцев. А потом, как-то за ужином, Лоуэлл вдруг сказал:

— Ферн очень любила кукурузу. Помнишь, как она могла уделаться?

И передо мной тут же встала картинка: желтые зерна, залепившие ее маленькие зубы-колышки, как жуки — дверную сетку. Наверное, мы ужинали початками кукурузы, вот Лоуэлл и вспомнил. Значит, снова было лето — светлячки и грозы, и почти год, как увезли Ферн. Хотя это только предположение.

— Помнишь, как Ферн нас любила? — спросил Лоуэлл.

Папа взял вилку, и она задрожала в его пальцах. Он снова положил вилку и мельком взглянул на маму. Она смотрела в тарелку, и глаз ее было не видно.

— Перестань, — сказал он Лоуэллу. — Еще рано.

Лоуэлл не обратил на него внимания.

— Я хочу ее навестить. Нам всем нужно ее навестить. Она сидит и думает, почему мы к ней

не приходим.

Папа провел рукой по лицу. Обычно он так играл со мной и Ферн: одно движение руки открывало на лице скорбь, второе — радость. Рука вниз — плач, рука вверх — смех. Вниз — Мельпомена, вверх — Талия. Трагедия и комедия, выраженные гримасой.

В тот вечер открылись усталость и грусть.

— Мы все этого хотим, — сказал папа тем же тоном, что Лоуэлл: спокойно, но твердо. — Мы все по ней скучаем. Но думать нужно о том, что лучше для нее. У нее был ужасный переходный период, но теперь она обосновалась в новом доме и счастлива. Встреча с нами только разбередит ее. Я понимаю, ты не из эгоизма говоришь, но ты сделаешь хуже ей, желая сделать лучше себе.

Теперь уже мама рыдала. Лоуэлл молча встал, взял свою тарелку и высыпал всю еду в помойное ведро. Поставил тарелку и стакан в посудомойку.

Вышел из кухни и ушел из дома. Его не было двое суток, и у Марко его не видели. Мы так и не узнали, где он ночевал.

Папа уже не в первый раз приводил эти доводы насчет Ферн. Например, в тот день, когда мы с Расселом и Лоуэллом съездили в старый дом и когда я наконец поняла, что Ферн там больше нет, — в

тот день я спросила отца, где же она живет.

Он был наверху, в своем новом кабинете, и меня послали напомнить ему, что начинается “Досье детектива Рокфорда” (Лоуэлл не мог поверить, что “иди в комнату и подумай над своим поведением” на самом деле значит “никакого телевизора”). Я прикинула, что могу забраться на стол и оттуда прыгнуть папе на колени, но я уже один раз просчиталась, уехав из дома без разрешения Мелиссы, и понимала, что папа не в настроении играть. Вместо этого я спросила его о Ферн.

Он поднял меня и посадил на колени, обдав, как обычно, запахом сигарет, пива, черного кофе и олд-спайса.

— У нее теперь другая семья, они живут на ферме, — сказал он. — Там есть другие шимпанзе, так что у нее много новых друзей.

Я тут же заревновала ко всем этим новым друзьям, которые, в отличие от меня, могут играть с Ферн. А вдруг ей кто-нибудь нравится больше, чем я?

И как непривычно: я сижу на одном папином колене, а на другом не сидит для равновесия Ферн.

Он крепко обнял меня и сказал, как скажет

потом Лоуэллу, и, наверное, не единожды, что мы не можем навестить Ферн, потому что ее это расстроит, но ей живется хорошо.

— Мы всегда-всегда будем скучать по ней, — сказал он. — Но мы знаем, что она счастлива, а это главное.

— Ферн не любит, когда ее заставляют есть что-то новое, — сказала я. Мы с Ферн были очень разборчивы в еде, поэтому я беспокоилась. — Мы любим то, к чему привыкли.

— Новое тоже бывает вкусным. На свете куча еды, которая Ферн еще не знакома, но может понравиться. Мангустины. Черимойя. Хлебное дерево. Мармеладная пальма.

— А любимую еду ей дают?

— Яблочный пирог. Голубиный горох. Шампиньоны.

— А любимую еду ей дают?

— Пирожки с батутом. Прыжки с бататом. Марпышки.

— А любимую…

Он сдался и сник.

— Да. Конечно. Любимую еду ей дают.

Я помню, как он это произносит.

Я много лет верила в эту ферму. И Лоуэлл тоже.

Когда мне было лет восемь, меня посетило как

будто бы воспоминание. Оно приходило по кусочкам, как паззл, который мне нужно было собрать. В этом воспоминании я еще совсем ребенок, еду с родителями в машине. Мы на узкой проселочной дороге, с двух сторон наседают и хлещут по окнам травы, лютики и зонтики.

На дорогу выбегает кошка, и отец тормозит. По идее, я не могла видеть кошку, так как сидела сзади пристегнутая, но отчетливо помню ее черной с белым животом и мордочкой. Она неуверенно ходит взад-вперед, потом отец теряет терпение, трогается с места и переезжает ее. Помню свое потрясение и протесты. Помню, как мама защищала отца, говорила, что кошка сама не желала уходить с дороги, словно у них действительно не было выбора.

Когда паззл сложился, я принесла его на суд единственному человеку, который мог ему поверить, — бабушке Донне. Она сидела в кресле и читала какой-то журнал, допустим, “Пипл”. Думаю, как раз умерла Карен Карпентер. Обе мои бабушки тогда очень расстроились. Рассказывая, я дрожала, старалась не заплакать и все-таки плакала.

— Ну что ты, лапочка, — сказала бабушка Донна, — это наверняка был сон. Твой папа никогда

и ни за что так не поступил бы, не сомневайся.

Если кто и был склонен видеть в отце самое дурное, это бабушка Донна. Когда она без колебаний забраковала мою историю, у меня камень с души свалился. Я начала думать, как раньше: что папа добрый и такой жуткой вещи не сделал бы. Я до сих пор чувствую, как машина подскакивает, переезжая кошку. И до сих пор четко знаю, что такого не было. Считайте, это мой персональный кот Шредингера.

Был ли папа добр к животным? Ребенком я думала, что да, но я мало знала о судьбе лабораторных крыс. Скажем так: он был добр к животным, если ему не приходилось быть другим в интересах науки. Он в любом случае не стал бы переезжать кошку, поскольку этот процесс не дает никакого полезного знания.

Он свято верил в нашу звериную природу и скорее склонен был видеть животное начало во мне, чем очеловечивать Ферн. И не только во мне, но, боюсь, и в вас тоже — во всех нас, как есть. Он не считал, что животные умеют думать, по крайней мере не в том смысле, который он в это слово вкладывал. Но и человеческое мышление его не впечатляло. Мозг человека, говорил он, — цирковой фургончик, застрявший у нас

между ушами. Открой дверь — и оттуда пачками вывалятся клоуны.

Идея нашей рациональности, повторял отец, кажется нам убедительной только потому, что мы сами хотим себя убедить. Любому беспристрастному наблюдателю, найдись такой, было бы ясно, что это патентованная брехня. В основе всех наших решений, поступков, ценностей, миропонимания лежат инстинкт и эмоция. Разум и рациональность — тонкий слой краски на грубой поверхности.

Однажды отец сказал: единственный способ понять, чем является Конгресс Соединенных Штатов, — это смотреть на него как на двухсотлетний эксперимент с приматами.

Он не дожил до начала революционных перемен в нашем представлении о познавательных способностях животных. Однако насчет Конгресса не ошибся.

7

Еще воспоминания о Ферн.

В первом воспоминании нам три года. Мама сидит в большом двухместном кресле в библиотеке, с одной стороны к ней притиснулась Ферн, с другой я. Идет дождь, льет целыми днями, и

мне до смерти надоело сидеть взаперти, надоело говорить с самой собой. Ферн очень любит, когда ей читают. Она сонная, сидит тихо, вплотную придвинувшись к маме, играет со шлевками ее брюк, разглаживает мягкий вельвет у нее на коленях. Я, наоборот, верчусь, мне неудобно, я перекидываю ноги через маму и пинаю Ферн, пытаясь спровоцировать ее на какое-нибудь наказуемое хулиганство. Мама велит мне сидеть спокойно, голосом таким острым, что только рыбу мариновать.

Она читает нам “Мэри Поппинс”, ту главу, где старушка отламывает у себя пальцы, и они превращаются в леденцы для детей. Меня начинает подташнивать, но Ферн, разобрав слово “сахар”, жует губами, мечтательно и сонно. Я не понимаю, что Ферн не понимает про пальцы. И вообще не догадывается, о чем книжка.

Я постоянно перебиваю, потому что хочу все понять. Что значит “зарапортоваться”? Что такое “ревматизм”? А у меня когда-нибудь будет ревматизм? Что это за “лайковые туфли”? Можно мне такие? Джейн с Майклом очень обиделись, когда Мэри Поппинс забрала у них звезды? А что если бы в небе не было звезд? Так может случиться?

— Тьфу ты, боже мой, — сказала в конце концов

мама, — дашь ты мне читать эту чертову книжку или нет?

И поскольку она упомянула бога и черта, что для нее нехарактерно, пришлось пожертвовать Мэри. Это Мэри спрашивает, сказала я.

— Мэри скоро выведет меня из себя, — предупредила мама. — Пусть Мэри сидит тихо и смирно, как Ферн, да, моя умница?

Ферн пожертвовала мной, как я пожертвовала Мэри. Она тоже не знала, что такое “ревматизм”, но я спросила, и теперь она знает. Она знает про ревматизм, и вдобавок ее хвалят за молчание, хотя она *даже не умеет говорить*. Я считаю, что Ферн похвалили просто так, а вот меня никогда не хвалят просто так. Все ясно, мама ее больше любит. Я вижу половину лица Ферн. Она почти уснула, веко подрагивает, ухо алеет, как мак, среди черной шерсти, большой палец ноги засунут в рот, и слышно, как она его посасывает. Она сонно смотрит на меня поверх собственной ноги и маминой согнутой руки. О, она прекрасно разыграла свою партию, ребеночек в подгузниках!

Второе воспоминание. Одна из аспиранток достала бесплатную кассету с музыкальной подборкой местной радиостанции и вставила ее в магнитофон. Мы все танцуем, сплошь девочки:

мама и бабушка Донна, Ферн и я, студентки Эми, Кэролайн и Кортни. Это олдскульный рок: *“Splish Splash I Was Taking a Bath”, “Paradise Park”* и *“Love Potion No. y”*[6].

“Я не знал, день или ночь. Я начал целовать все подряд”.

Ферн шлепает ногами по полу что есть мочи, то запрыгивает на спинки стульев, то спрыгивает. Она требует, чтобы Эми ее покружила, и не переставая смеется, летя по воздуху. Я дрыгаюсь, подскакиваю, припадаю к полу — стараюсь вовсю.

— Змейка! — кричит мама.

Она ведет нас гуськом вниз по лестнице, и мы с Ферн танцуем, танцуем, танцуем за ней.

Третье воспоминание. Яркое солнце, свежевыпавший снег. Лоуэлл швыряет снежки в кухонное окно. Они попадают в стекло с мягким шлепком и оставляют сияющие следы. Мы с Ферн от возбуждения не можем стоять на месте, носимся кругами по кухне, волочим за собой и перекручиваем шарфы. Нам так не терпится выбежать на улицу, что нас невозможно одеть. Ферн топает

---

[6] Примечания: 6

“Шлеп-шлеп, я принимал ванну”, “Райский парк”, “Любовное зелье № 9”.

и качается из стороны в сторону. Потом делает сальто назад, и еще раз, а потом мы беремся за руки и кружимся, и я смотрю на ее макушку.

Я спрашиваю, откуда берется снег, и почему он идет только зимой, и идет ли снег летом в Австралии, и все ли в Австралии наоборот, раз она на противоположной стороне Земли? Например, ночью светло, а днем темно. Санта-Клаус приносит подарки, только если ты по-настоящему плохо себя вел. Мама не отвечает на мои вопросы: она в раздражении, потому что Ферн ни в какую не желает носить ботинки и варежки. Если попытаться надеть что-нибудь ей на ногу, она тут же начнет вопить.

Одежда — это вообще больной вопрос. Мама предпочла бы и вовсе не наряжать Ферн, только если слишком холодно (ну и подгузники не в счет). Ей не хочется, чтобы Ферн выглядела комично. Но раз я должна одеваться, то и Ферн должна. И потом, одежда ей нравится. Мама считает, что она так самовыражается, но папа отвергает этот антропоморфизм.

На сей раз мама довольствуется тем, что пришпиливает к манжетам курточки Ферн собственные широкие перчатки и засовывает туда ее руки, но так, что она их тут же высовывает

обратно. Меня мама предупреждает, чтобы я держалась прямо. Никакого ползания по снегу на четвереньках. По кухне расползается запашок. Я вижу, мама все равно собирается отправить Ферн на улицу.

— Она вонючка, — говорю я.

Мама вздыхает, расстегивает курточку на Ферн и несет ее наверх переодевать. Вниз ее сносит уже отец, снова вставляет в зимний костюм. Слышно, как наверху включили душ. Теперь мне уже так жарко, что я вспотела.

Лоуэлл лепит снежного муравья. Брюшко, которое Лоуэлл называет метасомой, получилось не такое большое, как ему хотелось, — а ему хотелось вылепить гигантского муравья-мутанта ростом с самого себя, но снег такой липкий, что метасома накрепко примерзла к месту. Когда мы с Ферн наконец-то вываливаемся на сказочно заснеженный двор, Лоуэлл пытается сдвинуть ее, чтобы покатать еще. Пока он пыжится, мы скачем вокруг. Ферн взвивается на шелковицу и нависает прямо над нами. Ветви шелковицы покрыты снегом, Ферн немножко ест его, а потом начинает стряхивать нам за воротник, пока Лоуэлл не говорит ей перестать.

Но Ферн так просто не остановить. Лоуэлл под-

нимает капюшон. Она плюхается ему на спину и обхватывает рукой за шею. Я слышу ее смех — точно пилой по дереву, туда-сюда. Лоуэлл тянется себе за голову, хватает Ферн за руки и кувырком стаскивает на землю. Она смеется еще громче и опять взбирается на дерево: давай еще.

Но Лоуэлл уже идет дальше в поисках другого снежного участка, чтобы слепить другого муравья. — Зря я остановился вас ждать, ребята, — говорит он. — Надо катать без перерыва.

Недовольные вопли Ферн он игнорирует.

Я остаюсь копать канавку вокруг незавершенной метасомы, копаю руками, прямо в варежках. Ферн слезает и бежит за Лоуэллом. Оглядывается назад — иду ли я тоже, и я показываю, что мне нужна помощь. Обычно это не действует, но Ферн еще сердита на Лоуэлла и потому возвращается.

Папа выходит на крыльцо с чашкой кофе.

— Среди песков глубоких, — говорит он, — обломок статуи распавшейся лежит[7].

Ферн сидит рядом на снегу, положив подбородок мне на руку и обхватив ногой метасому. Она запихивает в рот еще пригоршню снега, шлепает подвижными выпяченными губами и

---

[7] Примечания: 7
П. Б. Шелли “Озимандия”. Перевод К. Бальмонта.

смотрит на меня сияющим взглядом. Глаза Ферн кажутся больше человеческих, потому что белки не белые, а янтарные, ненамного светлее, чем радужка. Когда я рисую лицо Ферн мелками, то для глаз беру жженую сиену. Рисунки самой Ферн всегда остаются незаконченными, потому что она съедает мелок.

Теперь она пинает ногой снежный шар. Непонятно, хочет ли она помочь, но дело идет на лад. Я толкаю с другой стороны. С меньшим трудом, чем я ожидала, шар, качнувшись, отделяется от земли.

Теперь я могу его катить, и он набирает объем. Ферн прыгает рядом со мной, как пробка в волнах, то скользя по снежной корке, то проваливаясь. За ней тянутся белые буруны, как за Тасманским дьяволом из мультика. Рукавицы, пришпиленные к манжетам, кожаными рыбами хлопают по снегу.

Лоуэлл поворачивается и смотрит из-под руки, потому что солнце превратило белоснежный мир в одно слепящее сверкание.

— Как вам удалось? — кричит он и широко улыбается мне из-под капюшона.

— Я очень старалась, — говорю я. — И Ферн помогала.

— Женская сила! — качает головой Лоуэлл. — Страшная вещь.

— Сила любви, — говорит отец. — Сила любви.

А потом появляются его студенты. Мы едем кататься на санях! Никто не пытается меня унять, потому что Ферн точно не уймется.

Мой любимый студент — Мэтт. Он англичанин, из Бирмингема, и называет меня “любимая” — и меня, и Ферн. Я обнимаю его за ноги и прыгаю на носках его ботинок. Ферн кидается на Кэролайн и опрокидывает ее в снег. Извалявшись в снегу, Ферн поднимается щедро припудренная, как пончик. Мы обе, каждая по-своему, требуем, чтобы нас брали на руки и укачивали. Мы так взбудоражены, что, по маминому любимому выражению, на удивление провидческому, совершенно не в себе.

Я всегда полагала, что знаю, о чем думает Ферн. Как бы она ни чудила, что бы на себя ни напяливала и ни плясала по дому, как воздушный шар на карнавале, на меня можно было положиться: я переведу это на обычный английский. Ферн хочет гулять. Ферн хочет смотреть “Улицу Сезам”. Ферн думает, ты какашка. Иногда я действительно судила по ситуации, но никто не убедил бы меня, что это всегда так. Конечно, я понимаю

Ферн. Я знаю ее лучше всех, знаю малейшее ее движение. Я на нее настроена.

— Зачем *ей* учить наш язык? — спросил однажды Лоуэлл у папы. — Почему не наоборот?

Папа ответил, что нам еще не известно в точности, способна ли Ферн вообще выучить язык, зато мы точно знаем, что своего языка у нее нет. Лоуэлл путает язык и коммуникацию, сказал папа, а ведь это абсолютно разные вещи. Язык — это больше, чем набор слов. Это еще и порядок слов, и то, как они друг друга меняют.

Только он говорил очень долго, гораздо дольше, чем Лоуэлл и я, а тем более Ферн могли выдержать сидя смирно. Какую-то роль здесь играл умвельт — очень приятное на слух слово, я повторяла его снова и снова, как барабанное соло, пока мне не велели замолчать. В тот момент мне было не так важно, что значит “умвельт”, но это особый для каждого живого организма способ воспринимать мир.

Я дочь психолога. Я знаю, что официальный предмет изучения и реальный редко совпадают.

В 30-х годах Келлоги — первые, кто растил ребенка вместе с шимпанзе, — заявляли, что их цель — сравнивать и противопоставлять способности, языковые и прочие, в их развитии. Формально

мы ставили ту же цель. Как бы не так.

По словам самих Келлогов, громкий эксперимент погубил их репутацию и никто уже не воспринимал их всерьез как ученых. Я знаю это сейчас, а наш амбициозный отец наверняка знал и тогда. В чем же действительно была цель исследования Ферн/Розмари — Розмари/Ферн, которое закончилось так рано и трагично? Точного ответа у меня нет до сих пор.

Но мне кажется, я дала много интересного материала. По мере того как я росла, мое языковое развитие не только контрастировало с развитием Ферн, но и представляло собой *абсолютно предсказуемый* фактор неожиданности, дискредитировавший любые сравнения между нами.

В 30-х годах вышли работы Дэй и Дэвис о речевом развитии детей, и с тех пор укоренилось представление о том, что у близнецов оно особенное. В семидесятых были проведены новые исследования, но я не уверена, что наши родители ими специально интересовались. Тем более они были не вполне релевантны в нашей ситуации, при таких разных задатках близнецов.

Аспиранты работали со мной и Ферн по отдельности, но все-таки большую часть времени мы с ней проводили вместе. У меня вошло в привычку

говорить за Ферн, а у нее — рассчитывать на это. К трем годам я уже работала для Ферн переводчиком, что определенно тормозило ее успехи.

Думаю, в результате наш отец изучал скорее не способность Ферн общаться в принципе, а ее способность общаться со мной. Только неизбежную рокировку не признавал, а была бы готовая сенсация. Формально отец искал ответа на следующий вопрос: может ли Ферн говорить с людьми? А вот вопрос настоящий, но не признанный: может ли Розмари научиться говорить с шимпанзе?

Один из первых аспирантов, Тимоти, утверждал, что в довербальный период у нас с Ферн была криптофазия — секретный язык жестов и звуков. Но записей не велось, и я узнала об этом только недавно. Отец счел это свидетельство слабым, ненаучным и, по правде сказать, надуманным.

По телевизору иногда показывали рекламу чемоданов “Американ туристер”, в которой блистал шимпанзе Уфи. Ферн не обращала на него внимания. Но однажды мы поймали пару фильмов из давнего сериала “Ланселот Линк, шимпанзе-шпион”, где Линка играл импозантный Тонга. Говорящие обезьяны в костюмах и галстуках заинтересовали Ферн. Она не отрывала глаз от

экрана, то поджимая, то разжимая свои загребущие губы и жестами показывая шляпу.

— Ферн хочет шляпу, как у Ланселота Линка, — сказала я маме. Для себя просить нужды не было: если Ферн получит шляпу, то и я получу.

Но мы обе остались без шляп.

Через некоторое время отец договорился, что к нам на полдня приедет маленький шимпанзе по имени Борис. Увидев его, Ферн подала тот же сигнал, что при виде коричневых пауков-отшельников, которых мы иногда находили в амбаре. Мама переводила этот сигнал “ползучая кака”, а Лоуэлл — “ползучее дерьмо”. (Второй вариант, на мой взгляд, был разумнее: “кака” — детское слово, а “дерьмо” — взрослое и серьезное. Ферн говорила серьезно.) Борис, хотела сказать Ферн, — мелкое ползучее дерьмо. А потом и вовсе — мерзкое ползучее дерьмо.

Всегда окруженная людьми, Ферн думала, что она человек. Ничего странного. Когда шимпанзе, выросших в доме, просят разобрать стопку фотографий — в одну кучку людей, в другую шимпанзе, — большинство из них делают только одну ошибку: собственную фотографию они кладут туда, где люди. Ферн сделала в точности так.

А вот путаницы в *моей* голове никто, судя по

всему, не предвидел. Отец не знал того, что мы предполагаем сейчас, — что на развитие нейронов детского мозга зеркально воздействует окружение ребенка. Все время, которое мы с Ферн проводили вместе, зеркало работало в обе стороны.

Много лет спустя я нашла в Сети статью обо мне, написанную отцом. Он первым предположил то, что подтвердили позднейшие исследования на обширном материале: вопреки своим поговоркам, люди склонны подражать гораздо больше, чем другие приматы.

Приведу пример. Если показать шимпанзе, как достать еду из клетки-головоломки, то они в свой черед добудут угощение кратчайшим путем, пропустив все лишние шаги. Человеческие дети будут подражать чрезмерно, они воспроизведут каждый шаг, пусть даже не обязательный. Есть какое-то объяснение, почему рабское подражание (раз уж мы выяснили, что ведем себя так) стоит выше вдумчивости и практичности, но я его позабыла. Почитайте статьи.

В первую зиму, как пропала Ферн, я пошла в детский сад, опоздав к началу учебного года из-за домашних передряг и огорчений. Дети стали обзывать меня человекообезьяной, а то и просто

обезьяной. Что-то такое во мне было — жесты ли, мимика, движение глаз; безусловно — то, как я говорила. Годы спустя отец мимоходом упомянул “эффект зловещей долины” — отвращение к тому, что выглядит почти, но не совсем как люди. Эффект зловещей долины трудно описать, а тем паче проверить на практике. Но если он существует, то понятно, почему некоторые из нас так неуютно чувствуют себя, глядя на шимпанзе. Детям из моей группы было со мной неуютно. Пяти-шестилетки не поверили в поддельного человека.

Я могла поссориться, и ссорилась, из-за выбора слова: какие вы глупые, говорила я победно, неужели вы не знаете разницы между обезьяной и приматом? Вы что, не знаете, что человек — примат, но не обезьяна? Однако дети сделали только один вывод — что я не против называться приматом, и продолжали в том же духе. При этом они отказывались верить, что сами приматы. Папа с мамой говорят, это неправда. Оказалось, в воскресной школе целый урок посвятили тому, чтобы меня опровергнуть.

Вот какие наставления дала мне мама, прежде чем отправить учиться.

Стой прямо.

Не маши руками, когда говоришь.

Не суй никому пальцы в рот и волосы.

Никогда никого не кусай. Даже если на то есть все основания.

Нравится еда — уйми свой восторг и не гипнотизируй чужие капкейки.

Играешь — не прыгай по столам и партам.

Чаще всего я соблюдала все эти правила. Однако наши успехи всегда значат меньше, чем неудачи.

А вот что я узнала в первый же день учебы.

Как читать по лицам детей, которые не так сдержанны, как взрослые, но и менее экспрессивны, чем шимпанзе.

В школе главное — молчать. (Вы можете подумать, что зря мама не предупредила меня; но она это сделала — помните правило высказывать вслух одну мысль из трех? Только этого принципа оказалось совершенно недостаточно.)

Умные слова не производят на детей никакого впечатления. А взрослым очень важно значение умных слов, поэтому не худо бы знать, что говоришь.

Но самое важное — я поняла, что непохожий останется непохожим. Даже если я не веду себя как раньше, даже если я веду себя не так, как

раньше, ничто не изменит моей настоящей сути, моего не вполне человеческого, сенсационно обезьяньего “я”.

Я надеялась, что Ферн уживается с себе подобными лучше, чем я. Одно исследование 2009 года показало, что макаки тоже испытывают эффект зловещей долины, а значит, теоретически, и шимпанзе могут.

Конечно, ничего такого у меня в голове тогда не было. Я представляла себе Ферн Тарзаном наоборот: выросла среди людей и вернулась к своим. Мне нравилось думать, что она учит других обезьян языку жестов. И что она, допустим, расследует преступления, или что-нибудь в этом духе. Что мы дали ей суперсилу.

Часть третья

Я не просчитывал всего, как человек, однако под влиянием своего окружения начинал вести себя так, как будто просчитывал.

Франц Кафка
“Отчет для академии”

1

Не спорю, мама, папа и Лоуэлл были гораздо больше, чем я, сокрушены разлукой с Ферн. Я перенесла ее легче просто в силу малого возраста и неспособности по-настоящему осмыслить.

И все же в каких-то вещах я одна понесла урон. В жизни мамы, папы и Лоуэлла Ферн появилась на полдороге. Они успели стать самими собой, и им было к чему возвращаться. В моем же случае Ферн стояла в начале пути. Когда она вошла в мою жизнь, мне едва исполнился месяц (а ей каких-то три). Кем я была до нее, все равно уже не узнать.

Утрату Ферн я очень сильно переживала физически. Я скучала по ее запаху и липкому влажному дыханию у себя на шее. По ее пальцам, копаю-

щимся у меня в волосах. Мы садились плечом к плечу, плюхались друг на друга крест-накрест, толкали, тянули, гладили и колошматили друг друга по сто раз на дню, и мне этого мучительно не хватало. Моя кожа изголодалась и тосковала.

То и дело я начинала неосознанно раскачиваться, сидя на одном месте, пока мне не велели прекратить. Взяла в привычку выдергивать себе брови. Искусала себе пальцы до крови; бабушка Донна купила мне белые перчаточки, как на Пасху, и заставила носить не снимая несколько месяцев, даже ночью.

У Ферн была привычка: она крепко обхватывала меня сзади за талию руками, жесткими, как ершик, вжималась мне в спину лицом и всем телом и топала за мной шаг в шаг, как будто мы одно существо. Аспирантов это смешило, и мы чувствовали себя популярными комиками. Расхаживать с обезьяной за спиной бывало тяжело, но все-таки во мне преобладало чувство, что с ней я делаюсь больше. В конечном счете, важно было не что может Ферн, а что я, но сумма наших возможностей — моих и Ферн вместе. А вместе мы с Ферн были способны почти на все. Вот какую себя я знала: человеческая половина легендарных, фантастических, феерических сестер Кук.

Я читала, что ни одна утрата не сравнится с утратой близнеца; пережившие ее говорят, что чувствуют себя не так, будто лишились пары, а как бы калечным остатком некогда целого организма. Даже если расставание произошло внутриутробно, у выжившего близнеца может на всю жизнь остаться чувство собственной неполноты. Больше всего страдают однояйцевые близнецы, потом двуяйцевые. Продлите немного эту шкалу, и скоро доберетесь до нас с сестрой.

И хотя болтать я перестала далеко не сразу — на самом деле потребовалось несколько лет, чтобы это подействовало, — в конце концов я поняла, что вся моя многоречивость ценилась только в контексте Ферн. После того как она сошла со сцены, никого уже не интересовали мои грамматические изобретения, мои составные лексемы, моя лихая глагольная акробатика. Если мне и приходило в голову, что когда Ферн перестанет отвлекать внимание на себя, я стану более значительной фигурой, то реальность оказалась совсем другой. Аспиранты исчезли из моей жизни тотчас вслед за Ферн. Еще вчера каждое мое слово было частью данных и аккуратно фиксировалось для последующего изучения и обсуждения. А сегодня я только девочка, странноватая, но не представ-

ляющая ни малейшего научного интереса ни для кого.

2

Если у вашей комнаты и у родительской общая стена, в этом есть одно преимущество: вам все слышно. Это же и недостаток. Иногда мама с папой занимались сексом. Иногда разговаривали. Иногда занимались сексом, не прекращая разговора.

Прошли годы, но темы ночных бесед у родителей изменились ненамного. Отец беспокоился о своей профессиональной репутации. Еще не так давно он был молодым профессором, получил признание, насобирал грантов и аспирантов, как яиц на Пасху. Под конец эпохи Ферн в его лаборатории шестеро аспирантов строчили диссертации на основе эксперимента в старом фермерском доме. Из них двое успели закончить работу по плану, а четверо — нет: в лучшем случае им приходилось сужать фокус исследования и просеивать собранные до них данные в поисках каких-то малоинтересных мелочей. Пострадала репутация целой лаборатории, целой кафедры.

Отец впал в паранойю. Хотя сам он успел опубликовать фундаментальную и захватывающе

интересную работу о тех пяти годах, теперь он был уверен, что потерял уважение коллег. Подтверждение тому он находил повсюду, на каждом заседании кафедры, на каждом фуршете. Периодически начинал пить.

Лоуэлл по-прежнему доставлял хлопоты — Лоуэлл главным образом, но и я тоже. Лежа рядом в кровати, родители ворчали. Что с нами делать? Когда Лоуэлл вновь станет милым, чутким мальчиком, ведь внутренне он именно таков? Когда же я наконец найду настоящую, а не придуманную подругу?

Психолог Лоуэлла мисс Долли Делэнси сказала, что Лоуэлл больше не верит в бескорыстность родительской любви к нему. Как так вышло? Ему поручили заботиться о Ферн как о сестре, что он и делал, а ее взяли и выкинули из семьи. Лоуэлл недоумевает и злится. Что бы мы делали без объяснений специалиста, сказал отец.

Маме мисс Делэнси нравилась. Папе — нет. У мисс Делэнси был сын Закари; когда я ходила в детский сад, он учился в третьем классе. Закари имел обыкновение ложиться под лазалкой на детской площадке и, когда над ним пролезала девочка, сообщать, какого цвета у нее трусики, даже если на ней были надеты штаны, сквозь ко-

торые ничего не разглядеть. Родителям это было известно: я же им и рассказала. Папа считал, это важно и говорит о многом. Мама так не считала.

Мисс Делэнси говорила, что те качества Лоуэлла, которые делают его таким неуживчивым, вообще-то очень хорошие, одни из лучших его качеств: преданность, любовь, чувство справедливости. Мы хотим, чтобы Лоуэлл изменился, но не хотим, чтобы он изменился в том, что мешает перемене. Положение щекотливое.

У меня своего психолога не было, поэтому мисс Делэнси поделилась мыслями и обо мне тоже. Я пережила не меньшую встряску, чем Лоуэлл, но если он встал на дыбы, то я изо всех сил старалась вести себя хорошо. Реакции обоих имели под собой основание. В обоих случаях их следовало трактовать как крик о помощи.

Детям легче, если они точно знают, чего от них ждут и какие будут последствия, говорила мисс Делэнси, с легкостью отметая тот факт, что, если Лоуэллу четко обозначить границу, он переступит ее в ту же секунду, можно даже не сомневаться.

Родители решили, что границу лучше оставить размытой и постараться скрасить Лоуэллу трудный период. Дом лопался от любви к нему, его

любимой еды, любимых игр и книг. Мы играли в “Руммикуб”. Слушали Уоррена Зивона. В чертов Диснейленд ездили. Лоуэлла это только бесило.

2

Не думаю, что анализ мисс Делэнси был неверен — скорее неполон. Она упустила из виду общее разъедавшее нас горе. С нами больше не было Ферн. Ее отсутствие вылилось в разные страхи, недопонимания, предательство — тугой гордиев узел трудностей в общении друг с другом. Но оно ощущалось и само по себе. Ферн любила нас, наполняла дом шумом и красками, теплотой и энергией. Она заслуживала того, чтобы по ней скучали, и мы скучали ужасно. Похоже, за пределами нашего дома этого не понимал никто.

Поскольку старая школа не давала мне ощутить, как я нужна и ценима (в чем я по общему мнению нуждалась), в первом классе меня перевели в хипповскую школу на Второй улице. Тамошние дети отнеслись ко мне не лучше прежних, но вот обзываться у хиппи не разрешалось. Зато Стивен Клэймор научил детей почесываться подмышками, что они иной раз и проделывали — то есть вроде бы ничего такого и не делали. В итоге взрослые, включая моих родителей, реши-

ли, что теперь мне легче, и успокоились. В первом классе была чудесная учительница мисс Рэдфорд, которая искренне меня любила. Мне досталось играть курицу в “Рыжей курочке” — бесспорно главную, звездную роль. И всё, мама убедилась, что я цвету и пахну. Ступор у нее сменился исключительным душевным подъемом. Лоуэлл и я в полном порядке. На самом деле, мы ведь такие хорошие дети. Умнички. Уж по крайней мере абсолютно здоровы. За черной полосой всегда следует белая.

Есть ли на свете более одинокий литературный персонаж, чем рыжая курочка?

Думаю, мама с папой предупредили в школе, чтобы со мной не говорили о Ферн, потому что обычно, столкнувшись с социальными различиями и препятствиями, учителя сочувственно закатывают глаза и бросаются на помощь.

“Шанайя угостила нас капкейками на свой день рождения, но Тэмми их есть нельзя, потому что у нее аллергия на пшеницу. Сегодня мы узнаем, где растет пшеница и какие продукты ее содержат. А завтра мама Тэмми принесет нам на пробу капкейки из рисовой муки. У кого еще есть на что-нибудь аллергия?”

“Сегодня первый день месяца Рамадан. Когда

Имад подрастет, он будет соблюдать правило Рамадана — поститься каждый день от восхода до захода солнца. Поститься — значит ничего не есть и пить только воду. Период Рамадана зависит от луны, поэтому меняется каждый год. Давайте нарисуем себя в виде космонавтов, идущих по Луне".

"Дэ Чжун не говорит по-английски, потому что его семья из Кореи. Сегодня мы попробуем найти Корею на карте и выучить несколько слов по-корейски, чтобы не один только Дэ Чжун учил новый язык. Вот как сказать по-корейски «Добро пожаловать, Дэ Чжун»".

Мое детство в компании Ферн канвой для очередного урока не стало — трудно поверить, что это могло произойти без специального внушения.

Папа советовал мне, как поднять социальный статус. Людям нравится, сказал он, когда их движения повторяют. Если к тебе прижимаются, чтобы поговорить, делай то же самое. Садись нога на ногу, если так сидят другие, улыбайся, если они улыбаются и т. д. Поэкспериментируй в школе (но осторожно, если твой маневр заметят — не сработает). Совет был дан из лучших побуждений, но до добра не довел, слишком уж хорошо он вписывался в историю девочки-шимпанзе:

обезьяна видеть — обезьяна делать. Ну и, вестимо, осторожный подход я запорола.

У мамы была теория — я слышала через стенку. Чтобы нормально чувствовать себя в школе, объясняла она папе, не обязательно иметь много друзей, но один друг необходим. В третьем классе я недолго как бы дружила с Дэ Чжуном. Он не разговаривал, но я легко поддерживала разговор за обоих. Он обронил рукавицу, а я подобрала и вернула. Мы вместе ели ланч, по крайней мере за одним столом, а в классе его посадили за соседнюю парту: предполагалось, что, болтая обо всем подряд, я помогу ему выучить язык. По иронии, он преуспел в английском совершенно независимо от моего трепа, а едва заговорив, стал водиться с другими детьми. Наша связь была прекрасной, но недолгой.

Когда Дэ Чжун заговорил по-настоящему свободно, его перевели в государственную школу. У родителей были на него большие планы, и они включали в себя математические классы в Северной старшей школе Блумингтона. В 1996 году (я уже была в Дэвисе) мама позвонила мне в школу и рассказала, что Дэ Чжуну светит Калифорнийский университет в Беркли. “Вы могли бы с ним сойтись”. Моя недолгая вера в нашу дружбу

буквально заразила маму. Она никак не желала оставить эту идею.

По-корейски обезьяна — вон-сун-и. Так это слово звучит; не знаю, как правильно транслитерировать.

3

Тем временем Лоуэлл на зубах дополз до старшей школы. Лоуэлл-старшеклассник оказался куда уживчивей прежнего Лоуэлла. Он перестал требовать, чтобы мы поехали к Ферн, и редко упоминал о ней, как и все мы; держался холодновато, но вежливо. И на дом опустился мир, как тонкий снежный покров. Однажды на День матери Лоуэлл подарил маме музыкальную шкатулку, игравшую тему из “Лебединого озера”. Мама несколько дней над ней проплакала.

Его закадычным другом по-прежнему был Марко, хотя его мать уже не так привечала Лоуэлла, после того как приятели наворовали карамельных палочек в “Сахара-март” на Третьей улице, были пойманы и публично отчитаны.

У него был спорадический роман с девочкой по имени Кэтрин Чалмерс, которую все звали Китч. Она была из мормонов. Ее строгие и упертые родители народили девять детей, и присматри-

вать за Китч выпало двум старшим сыновьям. Каждый взялся за дело по-своему. Один возникал у нас на пороге и отводил Китч домой всякий раз, когда ей случалось нарушить свой комендантский час. Другой покупал для нее бутылки “Бунз фарм”[8], чтобы *ей* не приходилось приставать к незнакомцам. Штудии моего отца указали бы вам, что такое сочетание — весьма убогая модель коррекции поведения. Репутация у Китч была сомнительная.

У Чалмерсов Лоуэллу не позволяли даже приблизиться к спальне Китч, а в нашем доме соблюдали, по маминому выражению, правило открытой двери: Китч могла сидеть в комнате Лоуэлла, но дверь обязательно оставляли широко распахнутой. Меня периодически отправляли к ним с проверкой, и дверь всегда была нараспашку. Правда, иногда Лоуэлл и Китч вместе забирались на кровать, полностью одетые, но изо всех сил стараясь так или иначе занимать одно и то же пространство. Об этой стороне дела мама не спрашивала, я и не рассказывала. С течением времени я как-то научилась держать язык за зубами.

---

[8] Примечания: 8
Дешевое слабоалкогольное вино с фруктовыми ароматизаторами.

На самом деле, в какой-то момент я вообще почти перестала разговаривать. Не скажу точно когда. Я уже несколько лет как осознала, что существовать в школе проще всего, если не привлекать к себе внимания; однако знать и делать — разные вещи. Понадобилось время и постоянные усилия. Прежде всего я устранила умные слова — за никчемностью. Затем перестала поправлять других людей, если они употребляли слова неправильно. Пропорция мыслей и слов стала меняться у меня так: от трех к одному до четырех, пяти, шести, семи к одному.

Но мыслей было не меньше, чем раньше, и иногда я представляла, что бы мне ответили, если бы я высказалась, и что бы ответила потом я, и так далее.

Невыплеснутые мысли переполняли голову. Диковинная их толпа галдела внутри, как в баре космопорта Мос-Эйсли из “Звездных войн”.

Учителя начали жаловаться на мою невнимательность. Раньше, даже ни на минуту не умолкая, я была способна сосредоточиться. А тут стала такой рассеянной, сказала мама.

Несфокусированной, сказал папа.

Лоуэлл ничего не сказал. Может, и не заметил.

В последнем классе он был разыгрывающим

защитником в баскетбольной команде Южной старшей школы. Это позиция настолько важная и престижная, что даже мне стало легче жить. Я ходила на все игры. Прыгающее эхо большого спортзала, звонки, запахи, стук мяча по деревянному полу — эти вещи до сих пор действуют на меня умиротворяюще. Индиана и баскетбол. Все так хорошо относились ко мне, ведь мой брат регулировал движение на площадке.

В том году особенно грозно выглядела команда из Мариона, и нам предстояло играть против них. Во мне все гудело от возбуждения. Я сама сделала и повесила в окне гостиной плакат: змея, обвившаяся вокруг баскетбольного мяча, так что получился номер Лоуэлла — 9. Но однажды, когда Лоуэллу совершенно точно полагалось быть на тренировке и муштровать команду на пути к победе, я услышала, что он вернулся домой. Узнала его по звуку, с каким закрылась дверь.

Я сидела наверху и что-то читала, “Мост в Терабитию” или “Там, где папоротник красный” — во всяком случае, кто-то уже умер, потому что я успела рассопливиться. Мама ушла, не помню куда, но вряд ли она смогла бы что-то изменить; я даже рада, что она не сделала такой попытки, а то потом винила бы себя за провал.

Я спустилась посмотреть, в чем дело. Лоуэлл закрыл за собой дверь. Я открыла ее и вошла. Он лежал на кровати лицом вниз, ногами на подушке. Приподнял голову, но не настолько, чтобы я разглядела лицо, и сказал:

— Убирайся к черту из моей комнаты.

В его голосе лязгали ножи. Я не двинулась с места.

Он свесил ноги с кровати, встал и повернулся ко мне — красное, мокрое, опухшее лицо, как туча. Взял меня за плечи и выставил вон.

— Не смей соваться сюда. Вообще никогда! — И закрыл дверь.

За обедом он уже вел себя как обычно. Ел и говорил с папой о предстоящем матче. О пропущенной тренировке не рассказывал, и я тоже. Мы посмотрели серию “Шоу Косби”. Помню, он смеялся. Это было последнее, что мы делали все вместе.

Той ночью он взял свои деньги — банком служила перчаточная кукла Граучо Маркса, которую давным-давно сшила бабушка Донна, пока он болел ветрянкой, — запихал в спортивную сумку эту куклу и кое-что из одежды. У него был талант зарабатывать и не тратить ни цента, поэтому денег, я думаю, накопилось изрядно. Взял отцов-

ские ключи, пошел в лабораторию и отпер ее. Собрал всех крыс в несколько больших клеток, вынес на улицу и выпустил. Потом сел в автобус до Чикаго и больше уже не вернулся.

Папины аспиранты снова лишились данных, полученных за годы работы. Крысам это ничего хорошего не принесло, сказал папа, учитывая погоду на тот момент. Не принесло, конечно, и папе: в университете он удержался, но в аспирантуру к нему шли уже только те, от кого отказались остальные преподаватели. Про маму скажу только, что исчезновение Лоуэлла она восприняла очень тяжело, еще хуже, чем потерю Ферн, и тем ограничусь. Я не смогу выразить словами, какой это был удар для нее. Ей никогда не удавалось даже сделать вид, что она оправилась.

Поначалу все думали, он вернется. Впереди маячил мой день рождения, и я была уверена, что Лоуэлл его не пропустит. Он часто пропадал на несколько дней, один раз на целых четыре, но потом возвращался, а где ночевал, мы так и не знали. Поэтому, несмотря на Великое крысиное освобождение, родители не сразу осознали, что на сей раз все будет иначе. Через две недели они решили, что полиция, для которой Лоуэлл был обычным беглецом, да к тому же взрослым (ему

как раз исполнилось восемнадцать), не слишком-то усердствует. Они сами наняли детектива, строгую деятельную даму по имени К.Т. Пэйн, чтобы выследить Лоуэлла. Первое время Пэйн регулярно заходила к нам. Нет, она еще не настигла его, но идет по следу. Его видели… О нем сообщали. Ей не доверяли — по крайней мере, я рассудила так, ведь со мной ничем особенно не делились.

— Ну что, ребенок, — обращалась она ко мне, будто это от меня ждали ответа, — как жизнь молодая?

Я слонялась вокруг, рассчитывая услышать хоть что-нибудь, но родители из осторожности изъяснялись кратко и неинформативно.

А потом Лоуэлла и след простыл. После каждого звонка мама лезла на стену, и в конце концов папа попросил даму К. Т. звонить ему на работу.

Наняли второго детектива. Недели перетекали в месяцы, а мы все надеялись, что Лоуэлл вернется. Я и не думала перебираться в его комнату, хотя часто спала в его постели — чтобы чувствовать себя ближе к нему и дальше от общей стенки и маминого плача. В один прекрасный день я нашла записку, которую он оставил для меня в “Братстве кольца”. Он знал, что я часто перечи-

тываю трилогию и рано или поздно пойду искать утешения в Шире, у которого с Блумингтоном общего не больше, чем с любым другим городом на свете. “Ферн не живет ни на какой сраной ферме”, — написал он.

Я никому ничего не сказала. Мама была не в том состоянии, чтобы выложить ей такую новость. Я предположила, что Ферн все-таки *была* на ферме, но ее выгнали снова, например, за плохое поведение. И потом, этим уже занялся Лоуэлл — сначала он позаботится о Ферн, а потом вернется и опять будет со мной.

Мне и в голову не приходило, что отец все это время лгал нам.

Когда мне было восемь или девять лет, я часто мечтала перед сном, как мы с Ферн живем на ферме вместе. Никаких взрослых и вообще людей там нет, одни маленькие шимпанзе, которым очень нужен кто-нибудь, кто разучивал бы с ними песни, читал им книжки. Это была моя сказка на ночь самой себе: я рассказываю сказку на ночь малышам шимпанзе. Отчасти моя игра была позаимствована из “Питера Пэна”.

Вторым источником вдохновения послужила “Швейцарская семья Робинзонов” в диснеевской версии. Дом на дереве понравился мне в

Диснейленде больше всего. Не будь родителей, следящих за каждым моим шагом, будь я счастливой и беззаботной сиротой, я бы спряталась под механическим пианино, дождалась, когда все закроется, и залезла бы в этот домик жить.

Я пересадила всю конструкцию целиком, с корнями, стволом и ветками, на ферму Ферн. Лежа в темноте, я сосредоточенно размышляла о лебедках и тросах и как нам устроить водопровод и огород — в той воображаемой жизни мне нравились овощи, — и все это не спускаясь с дерева. Я засыпала, а в голове еще кружились всякие механизмы и логистические задачи.

Вот уж действительно ирония судьбы: много лет спустя швейцарских Робинзонов выдворили из диснеевского домика на дереве, а вместо них поселили Тарзана и его матушку — обезьяну Калу.

Марионцы разделали команду Южного Блумингтона под орех и в итоге победили на чемпионате страны — впервые за трехлетний период, известный как Правление Пурпурных. Не думаю, что Лоуэлл мог бы предотвратить такой исход. В любом случае, мой социальный статус от его исчезновения не выиграл. Наутро после матча шелковица у нас перед домом была увешана

туалетной бумагой, как новогодним дождиком, а под дверью лежали три мешочка с дерьмом, может, собачьим, а может, и нет. В школе мы в тот день играли в вышибалы, и я была после этого один большой ходячий синяк. Никто не пытался остановить избиение. Подозреваю, некоторые учителя с удовольствием подключились бы.

Месяцы перетекали в годы.

В седьмом классе, в первый же день учебы, кто-то прилепил мне сзади к пиджаку страницу из “Нэшнл джиогрэфик” — глянцевитое изображение обширного зада самки шимпанзе, розового, пухлого и яркого, как мишень. В течение двух часов, куда бы я ни пошла, дети показывали пальцами мне вслед, все как один, пока на уроке французского учитель не заметил и не снял картинку.

Я уже вообразила, что примерно так и будет до конца средней школы. Плюс жвачка, чернила и вода из унитаза. В тот день, придя домой, я заперлась в ванной, встала под душ, чтобы меня не было слышно, и долго плакала, думая о Лоуэлле — тогда я еще надеялась, что однажды он вернется. И заставит их прекратить, и заставит их извиниться. Мне просто нужно дотерпеть, высидеть эти уроки и выдержать перемены.

Жаловаться родителям я не стала. Мама не вынесла бы; расскажи я все как есть, она перестала бы из комнаты выходить. Только одним я могла ей помочь — делать вид, что у меня все хорошо. И я трудилась над этим, как на службе. Никаких жалоб начальству на условия работы.

Отцу и смысла не было рассказывать. Он ни за что не разрешил бы мне уйти из школы — подумаешь, всего-то один день. Помочь он не мог, а если бы попытался, то совершил бы какой-нибудь жуткий ляпсус. Родители слишком невинны для босхианских пейзажей средней школы.

Поэтому я держала рот на замке. К тому времени я всегда держала рот на замке.

К счастью, первый день был самый ужасный. Кроме меня были и другие странные ученики, еще большие отщепенцы, и все тяготы средней школы обрушились на них. Правда, иногда кто-нибудь с наигранным участием спрашивал, не эструс ли у меня, но тут я сама виновата: никто и не узнал бы этого слова, не произнеси я его классе в четвертом — очевидно, запомнилось накрепко. А так со мной вообще говорили редко.

У себя в спальне ночью мама и папа беспокоились о том, какой я стала тихой. Но так и должно быть, уверяли они друг друга. Обычная

подростковая угрюмость. Я из этого вырасту. Найду золотую середину между прежней говорливостью и теперешней молчаливостью.

Время от времени мы получали весточку от Лоуэлла. Вдруг приходила открытка, иногда с текстом, иногда без, но всегда неподписанная. Помню одну с фотографией Парфенона в Нэшвилле и почтовым штемпелем Сент-Луиса. На обороте было написано: “Надеюсь, ты счастлива”, — что трудно проанализировать и трудно понять буквально, однако может означать ровно то, что сказано. Лоуэлл вполне мог надеяться, что я счастлива.

Мы перестали искать его в начале июня 1987 года. Лоуэлл уже год как ушел. Я стояла на дорожке к гаражу, кидала об дверь теннисный мяч и ловила — так играют в мяч одиночки. Мне было тринадцать лет, между мной и школой простиралось целое жаркое лето. Сияло солнце, воздух был неподвижен и влажен. Утром я сходила в библиотеку, и в комнате меня дожидались семь книжек, из которых три я раньше не читала. Через дорогу помахала рукой миссис Баярд. Она косила газон, на расстоянии мотор сонно гудел, как пчелиный рой. Прямо счастлива я не была, но как это счастье чувствуется, помнила.

Перед домом остановилась черная машина, из нее вышли двое и зашагали по дорожке.

— Нам нужно поговорить с твоим братом, — сказал один.

Он был темнокожий, но не чернокожий, накоротко стриженный, почти лысый, и обливался потом на жаре. Вытащив платок, он отер макушку. Мне тоже захотелось так сделать — провести рукой по его волосам. Наверное, эту щетину приятно ощутить ладонью.

— Можешь его позвать? — спросил другой.

— Мой брат уехал к Ферн, — сказала я и вытерла руки о штаны, чтобы не чесались. — Он живет у Ферн.

Из дома вышла мама. Сделав мне знак подойти к крыльцу, она взяла меня за руку и спрятала у себя за спиной, оказавшись лицом к лицу с незнакомцами.

— ФБР, мэм, — сказал почти лысый и поднял к ее глазам жетон.

У следствия есть вопросы к Лоуэллу по поводу пожара в Ветеринарной диагностической лаборатории Джона Турмана, это Калифорнийский университет в Дэвисе.

— Будет лучше, если он придет к нам поговорить по собственному согласию. Так и передайте

ему, — сказал один.

— Кто такая Ферн? — спросил другой.

Выпущенных Лоуэллом крыс в большинстве отловили, но не всех. Вопреки мрачным прогнозам отца, некоторые из них пережили и ту зиму, и следующую. В конечном счете они узнали, что значит жить полной жизнью: у них были путешествия, приключения и секс. Еще много лет в Блумингтоне наблюдали особей окраса “капюшон”. Крыс находили в общежитии — одна облюбовала ботинок в шкафу. В кофейне в центре города. Под скамьей в университетской часовне. На кладбище Данна — за обедом из лютиков на могиле времен Войны за независимость.

4

И вот мне исполнилось пятнадцать лет. Как-то я катила на велосипеде одна по чудесному осеннему кампусу Индианского университета, и меня окликнули по имени.

— Розмари! Подожди, остановись! — кричал кто-то.

Я остановилась — Китч Чалмерс, теперь уже студентка. Казалось, она была искренне рада встрече. — Розмари Кук! Привет, подружка,

сколько лет, сколько зим!

Китч отвела меня в студенческий клуб, угостила колой. Начала болтать о том о сем, а я сидела и слушала. Она жалеет, что была такой оторвой в юности, и надеется, что я не повторяю ее ошибок. Некоторые вещи, если сделал, то уже не исправишь. Теперь она остепенилась. Вступила в студенческое сестринство, учится хорошо. Скоро получит степень и мне советует подумать о том же. А вдруг из тебя выйдет отличный учитель, сказала она. (До сих пор не понимаю, как это могло прийти кому-то в голову, но именно учителем я и стала.)

У нее симпатичный бойфренд, сейчас он в Перу по работе, но звонит каждую неделю обязательно. Наконец она спросила, писал ли нам когда-нибудь Лоуэлл. Ей — нет. Ни словечка с того дня, как они расстались. Она думает, что заслуживала большего. Мы все заслуживали большего, сказала она, мы славное семейство.

А потом она рассказала мне о том, чего я раньше не знала, — об их последней встрече. Она провожала его на тренировку по баскетболу, и тут они столкнулись с Мэттом. Моим любимым аспирантом Мэттом из Бирмингема. Которого я не видела с тех пор, как пропала Ферн.

Который знал, как я его люблю, но даже не попрощался.

Оказалось, Мэтт уехал из Блумингтона вместе с Ферн. Он удивился, что Лоуэлл первый раз об этом слышит. Шимпанзе, которых вот так резко отлучали от семьи, иногда умирали без каких-либо видимых причин, от одного горя. Поэтому Мэтта отправили попутчиком, точнее, он сам вызвался помочь ей в переходный период. Он отвез Ферн в психологический центр в Вермиллионе, штат Южная Дакота. В этом центре жило более двадцати шимпанзе, а руководил им некий доктор Алжевик, о котором Мэтт ничего хорошего сказать не мог.

Ферн явно страдала от потрясения и ужаса, связанного с переездом, тем не менее доктор Алжевик разрешил Мэтту видеться с ней всего лишь несколько часов в неделю. Он сразу посадил Ферн в клетку, где уже содержались четыре шимпанзе крупнее и старше, а когда Мэтт предупредил, что Ферн никогда еще не жила среди шимпанзе, и спросил, нельзя ли ввести ее в их компанию постепенно, доктор Алжевик сказал “нет”. Она должна выучить, где ее место, сказал он. Должна выучить, что она такое.

“Не выучит — откажемся ее держать”, — сказал

доктор Алжевик. За все время, что Мэтт провел в центре, Алжевик ни разу не назвал Ферн по имени.

— И тут, — рассказывала Китч, — Лоуэлл просто слетел с катушек.

Она попыталась утянуть его на тренировку, боясь, как бы его не отстранили от игры с Марионом. Он же должен чувствовать ответственность перед товарищами, перед всей школой, да перед всем городом, елки-палки, убеждала она. “Не надо, черт побери, говорить мне про ответственность, — отвечал он (сомневаюсь: Лоуэлл в жизни не употреблял выражения «черт побери»). — Мою сестру посадили в клетку”. Они сильно повздорили, и Китч порвала с ним.

Китч не была знакома с Ферн и понимала суть событий не лучше прочих окружающих. Чрезмерная и необъяснимая реакция Лоуэлла поразила ее.

— Я сказала ему, что не хочу встречаться с парнем, который проиграл Мариону. Зря я так, конечно, но мы всегда жутко ругались. Я думала, потом помиримся, как обычно. Он тоже сплошь и рядом нес черт-те что, не только я.

Но эту часть я уже едва слушала, в ушах у меня звучала предыдущая фраза: “Мэтт говорил, в этой

Южной Дакоте с Ферн обращались как с каким-нибудь животным".

Мне достаточно трудно простить себе поступки и чувства своих пяти лет и совсем невозможно — поведение в пятнадцать лет. Лоуэлл, услышав, что Ферн сидит в клетке где-то в Южной Дакоте, той же ночью пустился в путь. Я, услышав то же самое, притворилась, что не слышала ничего. Сердце как будто подпрыгнуло и засело в горле, пока Китч рассказывала, и я не могла ни допить колу, ни слово произнести через этот мерзкий пульсирующий мясной ком.

Но по дороге домой в голове прояснилось. Пяти кварталов хватило, чтобы я сказала себе: в конце концов все не так уж плохо. Добрый старина Мэтт. Двадцать шимпанзе, с которыми она подружилась, новая семья, обезьянья. Клетка — явно временное пристанище, а дальше — переезд на папину ферму. Лоуэлл не способен доверять и верить. У Лоуэлла талант сразу перескакивать к самым безумным выводам, думала я.

И потом, если с Ферн действительно были какие-то проблемы, Лоуэлл уже разобрался. Он поехал в Южную Дакоту и сделал, что нужно было. А потом отправился в Дэвис, в Калифорнию. Так сказало нам ФБР. Мое собственное правитель-

ство. С чего бы ему лгать?

За ужином я как всегда отмалчивалась. Высказанное слово превращает личное знание в общее, и стоит шагнуть с этого обрыва, назад уже не повернешь. Не говорить ничего — дело более-менее поправимое, и со временем я убедилась, что зачастую это наилучшая стратегия. Мой путь был тернист, но к пятнадцати годам я уже стала верным его паладином молчания.

5

А дальше я попыталась больше никогда не думать о Ферн. К отъезду в колледж я на удивление преуспела в этом. Все произошло так давно. И я была так мала. Без нее я прожила намного дольше, чем с ней, да и мало что помню из тех лет.

Я уехала из дома последней из детей. И хотя мама дала согласие на эту “заштатную авантюру”, первый год ее голос по телефону дрожал. Провести дома каникулы перед вторым курсом я не могла, иначе потеряла бы право на сокращенную плату за учебу, как для резидентов штата. И я осталась в Калифорнии. Мама с папой навестили меня в июле.

— Здесь, по крайней мере, жара сухая, — повторяли они, хотя какая разница, если температура

взлетает за сорок. Мы поколесили по кампусу; без комментариев проехали место умышленного поджога — лаборатория функционировала полностью.

Потом родители вернулись в Блумингтон и в августе переехали в другой дом. Странно это — сознавать, что снова живешь там, где ни разу не была.

Я обнаружила, что непреднамеренно избегаю занятий, где речь идет о приматах. Генетика, физическая антропология, психология, разумеется, — мимо. Вы удивитесь, как трудно увернуться от приматов. Выбираешь введение в классическую китайскую литературу — и неделю читаешь про то, как царь обезьян Сунь Укун куролесил на небесах. Записываешься на европейскую — пожалуйста, в списке “Отчет для академии” Кафки, где рассказчик — обезьяна Красный Петер, и преподаватель вещает, что это метафорическое изображение еврейства, и ты, в общем, понимаешь, что он имеет в виду, но это не самое очевидное прочтение. В курсе астрономии наверняка найдется место пионерским полетам в космос шимпанзе и собак. Вероятно, вам покажут фотографии шимпанзе в шлемах, с улыбкой от уха до уха, и тебе нестерпимо захочется сказать,

что у шимпанзе такой оскал означает страх и ничего больше, сколько бы они ни прожили среди людей. Радостные шимпанзе-космонавты откровенно перепуганы. Но ты, вероятно, прикусишь язык и промолчишь.

Так что это неправда — я думала о Ферн. Другое дело, что думала, когда бывал внешний стимул, и не подолгу.

Я приехала в Дэвис, одновременно чтобы найти свое прошлое (брата) и расстаться с ним (девочкой-обезьянкой). Под девочкой-обезьянкой я, конечно, подразумеваю себя, не Ферн, какая же она обезьянка. Видимо, той недоступной частью мозга, внутри того мышления, которое не доходит до слов, я все еще верила, что могу исправиться, и семья тоже, и мы станем жить-поживать, как будто не отнимали у нас никакой Ферн. Видимо, я считала, что это было бы к лучшему.

После регистрации в общежитии первокурсников я приняла решение никогда не говорить о своей семье. Болтливость я уже избыла и не ждала проблем с этой стороны. Но, к моему удивлению, оставленные дома родные нередко делались темой дня у студентов, и обойти ее оказалось труднее, чем я надеялась.

Сначала мне досталась в соседи Ларкин Роудз,

фанатка “Секретных материалов” из Лос-Гатоса. Природная блондинка, она красила волосы в рыжий цвет и заставляла нас звать ее Скалли. В минуты сильного волнения Скалли моментально становилась банно-розовой, потом тут же белой, потом снова розовой — прямо покадровая съемка. Говорить о своей семье она начала едва ли не с первой минуты знакомства.

Скалли заселилась первой, выбрала кровать и ворохом бросила на нее вещи (так они лежали месяцами — в этом гнезде она и спала). Когда я открыла дверь, она вешала на стену постеры. Сперва знаменитый “Хочу верить” из “Секретных материалов”, потом “Эдвард Руки-Ножницы” — с ее любимым Джонни Деппом, как она сказала.

— А у тебя что? — спросила Скалли.

Наверное, я произвела бы лучшее впечатление, будь у меня хоть один постер.

По счастью, Скалли была старшей из трех сестер и привыкла восполнять чужое скудоумие. Она поведала, что ее отец — подрядчик на строительстве эксклюзивного жилья, домов, где роликовые лестницы в библиотеках, красные карпы в фонтанах, гардеробные размером с ванную и ванные размером со спальню. Выходные он проводит на ренессансных ярмарках: разгуливает в бархатной

шляпе и кланяется красоткам.

А мать придумывает наборы для вышивки крестиком и продает под маркой “Х-Роудз” (Х как крестик). Она ездит с мастер-классами по всей стране, но особенно популярна на юге. У Скалли на кровати лежала подушка, на которой был вышит вид сверху на Великую китайскую стену — и правда как настоящий, потрясающая игра света и тени.

Однажды Скалли пропустила из-за матери школьный бал — та велела ей почистить швы между плитками в ванной при помощи зубной щетки и отбеливающего средства.

— Это все, что нужно знать о моей маме. Номер Марты Стюарт[9]у нее на быстром вызове. Ну, не в реальности. Как бы ментально.

Она остановила на мне взгляд печальных голубых глаз и жалобно спросила:

— У тебя так было: ты взрослеешь, все вокруг кажется таким нормальным, а потом хлоп — и понимаешь, что вся твоя семейка — психи?

К тому времени она знала меня минут двадцать.

Чудовищно компанейская, она практически с

---

[9] Примечания: 9
Американская ведущая программ о домоводстве и образе жизни.

первого шага стала на короткой ноге со всеми. Кажется, весь мир сосредоточился в нашей комнате. Когда бы я ни вернулась, после занятий или обеда, когда бы я ни проснулась ночью — у нас обязательно сидело, привалившись к стенке, полдюжины первокурсниц, которые трепались о динамике игры “Бей крота” и родственниках. Родители просто чокнутые! — они только что это поняли, как Скалли. У всех до единой были чокнутые родители.

Одну мамаша песочила целое лето за результат B+ по биологии, потому что выросла в каком-то районе Дели, где такие баллы всерьез не принимались[10].

У другой отец, прежде чем идти завтракать в ресторан, выстраивал семью у холодильника и заставлял залпом выпивать апельсиновый сок, потому что заказывать его слишком дорого, а какой же завтрак без сока.

Однажды вечером девочка из комнаты через коридор, Эбби как-то там, рассказала нам, что у нее есть старшая сестра, и эта сестра в шест-

---

[10] Примечания: 10

Речь идет о средней успеваемости и ее значении для поступления в колледж. Проходной балл варьируется в зависимости от того, в какой колледж подавать документы и в какой стране абитуриент получил среднее образование.

надцать лет рассказала ей, что, когда ей было три года, их папа заставлял ее трогать его пенис. Проговаривая все это, Эбби лежала в ногах моей кровати, оперев голову на согнутую руку, обвитую рекой ее черных волос. Кажется, на Эбби была майка и фланелевые пижамные штаны в клетку. В них она спала, в них же ходила на занятия. По ее словам, в Лос-Анджелесе все ходят в школу в пижамах.

— А потом все пошли к психоаналитику, и разделились на лагеря, и перестали друг с другом разговаривать, — продолжала Эбби, — и тут она вспоминает, что ничего такого он не делал и, наверное, ей это приснилось. И она до сих пор злится на тех, кто ей не поверил, потому что, а если бы это была правда? Психопатка. Иногда я просто ненавижу ее. Понимаете, остальные в семье вроде бы нормальные. И вот одна психованная сестра берет и все портит.

Это было так серьезно, что никто не знал, как реагировать. Мы сидели, смотрели, как Скалли красит ногти на ногах золотым лаком, и никто не произнес ни слова. Молчание затянулось и стало неловким.

— Проехали, — сказала Эбби.

В 1992 году это значило “мне все равно, даже ес-

ли прозвучало так, будто совсем не все равно". Не только произнесла, а еще и нарисовала в воздухе букву "П". От того, что мы заставили ее сказать "проехали", молчание сделалось еще тягостнее.

"П" как "проехали" — первый условный знак, который я выучила в колледже. Поставить пальцы у лба буквой "Л" значит "лузер". Два "Л" превращаются в "М" — "лузер, твоя мама работает в Макдональдсе". Вот так базарили в 92-м.

Заговорила Дорис Леви:

— А мой отец поет в магазине. Распевает во все горло, — сообщила она.

Дорис примостилась на полу, у позолоченных пальцев Скалли, обхватив колени руками.

В разговоры по внутренней связи вливается олдскульный рок-н-ролл: отец Дорис стоит у витрины с деликатесами, перебирает один за другим сыры, подносит их к носу и горланит что есть мочи. *"Mama told me not to come"*. Или *"Wake me up before you go-go"*[11].

— Может, он гей? — предположила Скалли. — По-моему, похоже.

— Однажды за ужином он вдруг, на ровном месте спросил, уважаю ли я его, — сказала До-

---

[11] Примечания: 11

"Мама говорила, не ходи туда", "Разбуди меня, прежде чем уйти".

рис. — Ну и что он рассчитывал услышать, интересно?

Она повернулась ко мне:

— А твои родители? Тоже, наверное, зачетные психи?

Я уловила заговорщический намек. Ясно, мы всей командой заполняем тишину, чтобы Эбби не жалела о своем рассказе. И теперь моя очередь.

Но я упустила мяч. В ушах еще звучал голос Эбби: “И вот одна психованная сестра берет и все портит”, и слова Дорис доносились до меня так, будто кто-то пытался докричаться через гул штормящего моря.

— Да не особенно, — сказала я и умолкла, чтобы не распространяться о родителях. Которые, в конце концов, обычны настолько, насколько может быть обычной пара, воспитывающая шимпанзе как ребенка.

— Везет тебе, ты такая нормальная, — сказала Скалли, и все согласились.

Как я их развела! Какая победа! Очевидно, мне удалось-таки стереть все эти мелкие признаки, все отличительные свойства личного пространства, фокусного расстояния, выражения лица, лексикона. Очевидно, чтобы считаться нормальной, достаточно не показывать симптомов

обратного. Мой план — уехать за полстраны и больше ни с кем не говорить — сработал на ура.

Только теперь нормальность не казалась мне такой желанной. Теперь нормальным считалось странное. А я не просекла. И не вписывалась по-прежнему. И по-прежнему не заводила друзей. Может, просто не знала как. Практики-то у меня точно не было.

Может быть, дружбе препятствовало мое упорное старание ни перед кем не раскрываться. Может, все те люди, которые входили в мою комнату, и были друзья, просто я этого не понимала, потому что ждала большего. Может, дружба не такая серьезная вещь, как мне представлялось, и на самом деле друзей у меня была куча.

Но логически следует иное. Меня не позвали на озеро Тахо кататься на лыжах вместе со Скалли и всей теплой компанией первокурсников. Я узнала об этом позже: в моей комнате и в моем присутствии о планах предусмотрительно не говорили. В поездке Скалли подцепила парня постарше из Калифорнийского политехнического, он провел с ней ночь, а наутро отказался даже разговаривать. Это обсуждалось так живо, что донеслось и до моих ушей. Скалли заметила, что я прислушиваюсь.

— Мы подумали, тебе будет неинтересно. Ты же из Индианы — зачем тебе куда-то ехать любоваться снегом.

Искусственный смех, глаза бегают, как пинбольные шарики, щеки пламенеют. Ей было так неловко, что я даже посочувствовала.

Если вы учились в колледже и выбрали курс “Введение в западную философию”, то, скорее всего, знакомы с концепцией солипсизма. Согласно ей, реальность существует только в вашем сознании. Следовательно, уверены вы можете быть только в том, что вы сами — мыслящее существо. Все остальные могут оказаться пустоголовыми марионетками, которыми управляют инопланетные хозяева или там собачьи блохи, а может, они и сами по себе пляшут. Обратное вам никогда не доказать.

Ученые решили проблему солипсизма благодаря стратегии, получившей название “заключение к наилучшему объяснению”. Это дешевый ход, и он никому не нравится, за исключением разве что тех самых инопланетян.

Скажем, я не могу доказать, что отличаюсь от вас, но это мое наилучшее объяснение. Я делаю заключение об этом отличии, исходя из реакции других людей. Полагаю, причина в моем воспи-

тании. Умозаключение и допущение, дым и желе — на таком дом не построишь. По сути, я говорю вам, что чувствую свою непохожесть на других.

Но и вы можете чувствовать себя непохожим на других.

У шимпанзе дружба длится около семи лет. Скалли и я делили комнату девять месяцев. Ни разу не ссорились всерьез и не скандалили. А потом собрали вещи и отчалили в разные стороны и больше никогда не общались. Скажите Скалли “до свидания”. Мы не встретим ее раньше 2010 года: она пришлет мне запрос на дружбу в Фейсбуке, непонятно зачем, и сказать ей будет особенно нечего.

На втором курсе я стала снимать квартиру на пару с Тоддом Доннели, прочитав его объявление на доске в супермаркете. Тодд был третьекурсник, искусствовед, симпатичный тихий мальчик, верил людям на слово — опасный, но благородный способ жить в этом мире. Я слушала про его папу-ирландца, от которого он унаследовал веснушки, и маму-японку (от нее — волосы) гораздо чаще, чем он — про моих родителей, но все равно он узнал больше, чем другие. К тому времени я уже сообразила, как должна говорить о своей семье. Нет ничего проще. Начиная с середины.

Однажды вечером Тодд каким-то таинственным путем раздобыл мультфильм “Человек в железной маске” производства австралийской “Бёрбэнк филмз”. Пришла его тогдашняя девушка Элис Хартсук (дурак, как он мог ее отпустить). Они устроились по разные стороны дивана, сидели ногами к середине и шевелили пальцами. Я легла на коврике, бросив себе подушек. Мы приготовили попкорна в микроволновке и ели, а Тодд рассуждал о мультипликации вообще и стиле студии “Бёрбэнк” в частности.

Вы знаете эту историю. Один близнец — король Франции, другого бросили в Бастилию и заставили носить железную маску, чтобы никто не видел его лица. Все королевские качества — у брата-узника. Настоящий король — настоящая сволочь. Где-то в середине мультика — чудесный танец и фейерверки в небе. Почему-то именно в этот момент я обнаружила, что не могу дышать. По телевизору — пируэты, арабески и дождь золотых звезд. На полу — я, вся в поту, сердце вскачь, хватаю ртом воздух и не могу вздохнуть полной грудью. Я села, и комната погрузилась во мрак, медленно вращаясь вокруг меня.

Элис сунула мне пустой пакет от попкорна и дала инструкцию в него дышать. Тодд сполз на пол

у меня за спиной, почти обхватив меня ногами, и принялся растирать мне плечи. Что очень щедро, потому что он был не любитель тактильных контактов, а мне нравятся прикосновения — это во мне обезьянье.

Массаж плеч подействовал расслабляюще, и я заплакала, все еще дыша в пакет, отчего в моих рыданиях слышались манящие звуки океана: то шум волн, то зов тюленей.

— Ты в норме? — спросил Тодд, и зачем люди это спрашивают, когда ясно, что нет. — Что случилось?

Его пальцы разминали сзади мою шею.

— Ты в норме? — спросила Элис. — Нам позвать кого-нибудь? Что случилось?

Я честно не знала. И не хотела знать. Что-то восстало из склепа, и мне абсолютно точно не хотелось видеть, что именно. И досматривать "Человека в железной маске" тоже. Все в порядке, сказала я, мне уже легче, понятия не имею, что меня вырубило. Извинилась и ушла к себе, где легла и снова заплакала, только тихо, чтобы не расстраивать еще больше Элис и Тодда.

Когда в комнате невидимый слон, нет-нет да и споткнешься о хобот. И я решила сбежать привычным путем, дорогу я помнила — как можно

скорей заснуть.

6

Несколько лет спустя.

Входит Харлоу.

Вы уже лучше знаете меня, поэтому давайте вернемся к первой встрече. Я сижу в столовой, передо мной бутерброд с жареным сыром и молоко. Харлоу влетает в дверь, как ураган, прими он форму высокой сексапильной девицы в голубой футболке и с кулоном в виде скалярии.

Вполне возможно, я не так уж перепугана, как вам показалось при первом прочтении. И понимаю, что злость Харлоу притворна. Тарелки вдребезги, пиджаки долой — все это спектакль. Понимаю, что она получает удовольствие.

Спектакль был хорош, и этим она тоже осталась довольна, как хорошо выполненным заданием, но не блестящ, иначе я бы не раскусила ее. Тем не менее, записной очковтиратель сама, я оценила ее напор. Меня восхитил ее стиль, хотя я бы такой не выбрала. Фрик или фальшивка — этот вопрос я задавала себе в колледже с первого дня, и вот появляется человек, у которого достаточно дерзости быть тем и другим.

Свои же собственные действия я понимаю не

больше, чем вам показалось при первом прочтении. Пыталась вывернуться, ныла из-за наручников, звонила папе, заполняла документы. Давайте перепрыгнем к тому, как я возвращаюсь в Дэвис после Дня благодарения и обнаруживаю у себя в квартире Харлоу. Такое никому бы не понравилось. А мне и того меньше. Опять двадцать пять, сказала я про себя. Так отчетливо, что даже сама услышала, как будто сказала вслух. Как будто я давно привыкла обнаруживать у себя существо, которое не имеет понятия о границах личного пространства, роется в моих вещах и большую часть из них ломает. Опять двадцать пять.

И тут наконец гипнотизер щелкает пальцами. То, с какой легкостью я выдерживала вспышки и проделки Харлоу, никак не связано с нашим коллективным притворством. Я спокойно относилась к ее выпендрежу, потому что уже видела подобное. Написай Харлоу в углу — подумаешь, видали и такое. Поскольку она этого не делала, то, по семейным меркам, ее поведение не тянуло на скандальное.

Меня поразила не столько узнаваемость этих сцен, сколько то, как быстро я их распознала. Одно дело скрывать свое глубинное обезьянство, совсем другое — полностью забыть о нем. (Хотя

не на это ли я надеялась? И пожалела. Мне не понравилось ни на грамм.)

Отец-то не попался на удочку. “Подозреваю, тебя кто-то втянул”, — сказал он по телефону, но я пропустила его слова мимо ушей. Я ненавидела, когда папа понимал меня лучше, чем я сама, и часто просто не слушала его, чтобы не рисковать.

Прозрение больше осложнило мои чувства к Харлоу, чем пролило на них свет. С одной стороны, я видела: от нее жди неприятностей. В детсадовском отчете, в разделе “Примечания”, меня характеризовали как импульсивную, ревнивую, требовательную. Типичные черты шимпанзе, и я потратила годы, упорно искореняя их. Я подозревала, что Харлоу демонстрирует те же наклонности, но без стремления измениться. А вдруг в ее компании я возьмусь за старое?

И все же в каком-то смысле мне было с ней комфортно, как ни с кем. Мое одиночество переоценить трудно. Просто повторю, что когда-то всего за несколько дней перешла из детства, в котором не оставалась одна вообще, в долгую и молчаливую “единичность”. Потеряв Ферн, я потеряла и Лоуэлла — по крайней мере такого, каким он был прежде; тем же путем потеряла маму и папу и, уже взаправду, потеряла всех папиных

студентов, в том числе своего любимого Мэтта из Бирмингема, который в решающий момент выбрал не меня, а Ферн.

Да, я видела, что Харлоу доверять нельзя в принципе. В то же время с ней я чувствовала, что могу быть собой настоящей. Я не имела ни малейшего намерения так поступать и, однако, с равной силой жаждала этого. Кто же я, интересно, по-настоящему? — думала часть моего мозга, взятая от папы. Неужели у нашей Рози наконец появилась подружка? — думала мамина часть.

И вот наконец мы вернулись в середину истории, где я — наивная студентка с новеньким багажом в виде личного протокола об аресте и чьего-то голубого чемодана. Звезды судьбы скачут по небу, как блохи.

Первая: появление и мгновенная пропажа маминых дневников.

Вторая: глухое послание от Лоуэлла — стук в стенку из соседнего каземата.

Третья: Харлоу.

Когда знамение повторяется трижды, как в “Юлии Цезаре”, то даже Калибан, глядя из другой пьесы, не может его не заметить.

Больше всего я думала о возвращении брата. Меня мутило от волнения, какое бывает в ожи-

дании рождественского утра, если Рождество в вашей семье больше напоминает “Кошмар на улице Вязов”.

Взаправдашнего Рождества ждать оставалось меньше двух недель. Если бы Лоуэлл объявился во время сессии, чего бы я только ради него не придумала. Мы играли бы в покер или “Руммикуб”. Могли бы смотаться в Сан-Франциско, погулять по Мьюирскому лесу. Еще есть такое место на озере Берриесса, если проехать по дороге с табличкой “Частное владение, проезд запрещен” и перелезть через забор с табличкой “Нарушители будут привлечены к суду”, то в ясную погоду открывается вид через весь штат: на востоке — Сьерра-Невада, на западе — Тихий океан. Совершенно наркоманский вид. Лоуэллу бы очень понравилось.

А если он объявится позже, я уже уеду в Индиану.

Поэтому я надеялась, что Эзра говорит правду и Лоуэлл вернется через пару дней и что пара дней значит два. Я надеялась, Лоуэлл догадается, что я провожу Рождество у мамы с папой. Надеялась, он поймет, что мне *приходится* так делать, хотя бы потому, что он сам так не сделал ни разу. Надеялась, ему не все равно.

Я, как только приехала в Дэвис, через несколько недель уже протоптала дорожку в газетный фонд, расположенный в цоколе библиотеки Шилдса, и засела там на целые выходные, читая местные новости о 15 апреля 1987 года и зажигательных бомбах в ветеринарной лаборатории Турмана. В Индиане это событие шума не вызвало: никто не связал его с самым одиозным баскетболистом старшей школы во всем Блумингтоне. Но даже в Дэвисе подробностей оказалось не густо.

Когда лабораторию уничтожили, она только строилась. Ущерб оценили в 4,6 миллиона долларов. Изнутри на ее обгорелом остове были выведены краской буквы ФОЖ; на университетских машинах, стоявших поблизости, тоже расписался Фронт освобождения животных. “Исследования на животных ведутся на пользу и животным, и людям, и окружающей среде”, — сказал официальный представитель университета.

ФОЖ заявил, что диагностическая лаборатория должна была обслуживать пищевую промышленность и животноводство, но я узнала об этом только из писем в редакцию, не из статей. Если верить “Дэвис энтерпрайз”, подозреваемых у полиции не было, однако содеянное квалифицировали как внутренний терроризм, и дело

передали ФБР.

Я расширила поиски и занялась цепочкой таких же случаев с зажигательными бомбами, произошедших в Северной Калифорнии немного позже, с небольшими перерывами. Серия ударов по складу поставщика мяса в Сан-Хосе, компании по производству мяса “Феррара”, складу птичьего мяса. Поджог магазина мехов в Санта-Розе. Ни один бомбометатель задержан не был.

Я поднялась наверх и попросила дежурного библиотекаря помочь мне найти материалы о ФОЖ: что это за люди, того же ли сорта, что Лоуэлл? Среди прочего фонд спасал и выпускал на волю животных, еще за ним числилась кража лабораторных данных и журналов. Активисты передавали прессе фотографии вивисекции. Ломали оборудование, в том числе стереотаксические установки для применения на приматах (не знала тогда и сейчас не хочу знать, что это такое). Травили ученых, меховщиков и скотоводов: оставляли им гневные письма и сообщения на автоответчиках, угрожали физической расправой, устраивали погромы в их домах и вешали страшные фотографии издевательств над животными на школьных площадках, где играли их дети.

В прессе о ФОЖ иногда говорили сочувственно,

но в основном — наоборот. “Рейтерс” описала его рейды как историю о ковчеге, только вместо Ноя у штурвала Рембо. Но все сходились в том, что нужно ждать убийства. Кого-нибудь значительного. Какого-нибудь человека. Опасные моменты уже были.

Мне попался доклад о взломе 1985 года в Калифорнийском университете в Риверсайде. Оттуда выкрали множество животных, включая детеныша макаки по имени Бритчиз. Когда он появился на свет, ему в тот же день зашили глаза, чтобы протестировать некое акустическое оборудование для слепых детей. Его планировали держать живым около трех лет, в состоянии сенсорной депривации, а затем убить и посмотреть, как депривация повлияла на зрительные, слуховые и моторные зоны мозга.

Я не хотела мира, где приходится выбирать между слепыми человеческими младенцами и замученными обезьяньими. Сказать по правде, я ждала, что наука как раз будет щитом от таких дилемм, а не подсунет их мне. Но я справилась — бросила чтение.

В 1985 году Лоуэлл как раз ушел из дома. Его приняли в Брауновский университет, мы понимали, что он скоро уедет, но думали, что несколько

месяцев у нас еще есть. Еще несколько месяцев у нас есть Лоуэлл, который гуляет с Марко и Китч и позволяет нам верить, что он наш и останется нашим даже тогда, когда будет далеко.

ФБР сказало родителям, что ФОЖ Западного побережья — это сеть слаженно действующих независимых ячеек и явок, использующая удобную подземную железную дорогу для перевозки животных. Они так и не сказали, каким образом вышли на брата, даже не подтвердили, что он подозреваемый. Сказали, что большинство борцов за права животных — молодые белые мужчины из среднего класса.

Диагностическая лаборатория в Дэвисе давно была достроена и энергично трудилась над тем самым, против чего протестовал ФОЖ. Я могла в любой момент подрулить туда на велосипеде. Подрулить, но не войти. В то время лаборатории, где исследовали животных, охранялись очень сурово.

Я уже собралась позвонить в авиакомпанию еще раз и потребовать, чтобы мне выдали настоящий чемодан и забрали самозванца, но Харлоу подала другую идею. Другая идея состояла в том, чтобы вскрыть замок наличествующего чемодана и посмотреть, что внутри. Само собой,

начинку брать не будем. Но как можно вернуть чемодан, даже не заглянув в него? Мало ли что скрыто в этом странном индианском бауле (если допустить, что он прибыл из Индианы). Золотые дублоны. Кукла, набитая героином. Полароидные снимки каких-нибудь среднезападных муниципалов, пойманных на горячем. Яблочное повидло.

А мне разве не любопытно? Где мой дух приключений?

Надо же, Харлоу знает, что такое яблочное повидло. Я это оценила, что не извиняет моего попустительства. Я надеялась, код на замке поставит ее в тупик. Понадобятся инструменты. А то и специалист-подрывник. В экспериментах с шимпанзе такая задача называется пищевой головоломкой. Шимпанзе получают награду за успех и скорость и бонусные очки за оригинальность. И вдобавок съедают найденную пищу. Если бы чемодан открыла шимпанзе, было бы величайшей несправедливостью ничего ей оттуда не дать.

Я не особенно возражала, уповая на арифметическую вероятность отгадки (1 к 10 000), и покорно отправилась под дождем в магазин купить на всех кофе.

Оказывается, можно открыть кодовый замок в считаные минуты, если крутить колесико и одновременно высматривать, на какой цифре в щели покажется паз. Мне это продемонстрировал Эзра, когда я вернулась. Эзра удачно использовал свой параноидный бред для приобретения целого набора навыков, достойных партизана-диверсанта. Страшно подумать, что еще он умел.

Харлоу отыскала его на балконе третьего этажа, где он занимался цигуном и отрабатывал убийственные фразочки. “Сотри это выражение со своей рожи, сука”. “Жопа немеет, что твой бифштекс”[12]. Однажды Эзра сказал мне, что изо дня в день у него в голове непрерывно крутится киноверсия происходящего. Думаю, так у многих, только не у всех в этом жанре.

Так вот, в киношной версии это сцена романтическая. Он собран, меланхоличен и любезен. Входит Харлоу, она крутит локон, и следующая сцена — в гостиной, мы склонились над замком голова к голове. По киношной версии, в чемодане бомба. Возвращаюсь я с кофе — как раз вовремя, чтобы их остановить.

Но нет, я их не остановила. Вместо этого я поз-

---

[12] Примечания: 12

Цитаты из фильма Ричарда Линклейтера “Под кайфом и в смятении” (1993).

волила Эзре раскодировать замок, наблюдала, как он делает последний, победный виток и открывает чемодан — все это без единого слова. Медленно, поддерживая интригу, он вытаскивал один за другим неинтересные предметы. По преимуществу одежду: спортивный костюм, носки, желтую футболку с надписью красным наискось “Бегущая раса”. Харлоу подняла футболку. Под словами был нарисован земной шар Америками наружу. Люди всех цветов бежали по окружности, дружно в одном направлении — по-моему, так не бывает.

— Велика, — сказала Харлоу с замечательным отсутствием досады.

Эзра зарылся еще глубже.

— Так-так! — произнес он и тут же добавил: — Закройте глаза!

Его никто не послушался: какой идиот закроет глаза только оттого, что Эзра велел.

Эзра извлек из чемодана нечто. Оно восстало, как привидение из тела, как вампир из голубого гроба. Оно выпростало паучьи конечности и запрыгало в руке Эзры, неподвижно таращась на нас и хлопая ртом.

— Это что еще за хрень? — спросил Эзра.

Он держал куклу чревовещателя — судя по все-

му, весьма древнюю. Она дрыгалась над крышкой чемодана, как насекомое. В одной ручке у нее были вязальные спицы, а к голове прикреплен красный чепец.

— Мадам Дефарж, — ответила я, но, вспомнив, какой из него книгочей, пояснила: — Мадам Гильотина.

Как же мало она попадала в образ, кинематографичности ноль.

Харлоу разрумянилась от удовольствия. Мы временно завладели чемоданом бегуна-чревовещателя! Старинная кукла мадам Дефарж — без сомнения, ровно то, что она чаяла найти. На ее щеках расцвели розы.

Эзра просунул руку под платье мадам Дефарж. Она подлетела к Харлоу и стала реять вокруг. Эзра вложил слова в ее уста. То ли она благодарила небеса за встречу с девочками, то ли бубнила “Марсельезу”, а может быть, “Братца Жака”. Акцент у Эзры был ужасен — его бубнеж вполне мог сойти и за французский. Вот тебе и “эффект зловещей долины”. В жизни не видела более жуткого образчика кукольного искусства. В жизни не видела зрелища гадостней.

Я взяла на себя роль резонера.

— Давайте-ка не будем с ней играться. Кажется,

старинная. Вдруг она одна на свете такая.

Но Харлоу сказала, что только дебил отправит раритет в багажное отделение.

И кстати, с ней обращаются очень осторожно. Харлоу взяла куклу из рук Эзры и заставила ее погрозить мне кулачками. Поглядев кукле в лицо, я поняла, что именно так она все и планировала.

— Не порть мне удовольствие, — сказала мадам Дефарж.

У меня уже не оставалось времени на эти глупости, пора было идти на занятие. Я вышла в кухню, позвонила в аэропорт, услышала, как важен для них мой звонок, и оставила сообщение. За мной пришла Харлоу. Она пообещала уложить мадам Дефарж обратно в чемодан, а я пообещала, что вечером мы вместе отправимся в забег по барам, потому что, господи ты боже мой, Розмари, все в порядке, расслабься.

И потому, что я хотела понравиться Харлоу.

7

Если вы спросите меня о лекциях в колледже, в 99 % случаев я ничего не смогу вам ответить. Тот конкретный день и конкретное занятие попали в один процент остальных.

Дождь еще не перестал. Не сильный, но холод-

ный, и я впитывала его, как губка, крутя педали. Проехала мимо футбольного поля, где паслась стая чаек. Эти чаячьи сборища я неоднократно видела в штормовую погоду и каждый раз удивлялась: Дэвис очень далеко от побережья.

Когда я добралась до лектория, вода уже насквозь промочила джинсы и хлюпала в ботинках. Обширная аудитория “Химия 100”, где занимались самые многолюдные курсы, уступами спускалась к точке, в которой стоял преподаватель. Вход был с верхнего ряда, сзади. Обычно в дождливый день слушателей набиралось немного, студенты как будто считали, что занятия отменяются из-за дождя, как уличные игры. Но то занятие было последнее в четверти, последнее перед экзаменом. Я опоздала, пришлось спускаться по ступеням, чтобы сесть поближе к передним рядам. Я подняла боковой столик и приготовилась конспектировать.

Тема была “Религия и жестокость”. Читал доктор Соса, человек средних лет, уже начавший толстеть и лысеть. Он пользовался популярностью у студентов, щеголял в галстуках с эмблематикой “Стартрека” и в непарных носках, правда, исключительно иронии ради. “Когда я учился в Академии Звездного флота”, — начинал

он разговор о временах давно минувших или исторический анекдот. Доктор Соса рассказывал с воодушевлением и приводил много фактов. Я числила его среди тех преподавателей, кого легко слушать.

Отец однажды предложил провести эксперимент: как только лектор посмотрит в мою сторону, я киваю. Вот увидишь, сказал он, они будут смотреть на тебя все чаще и чаще, безвольные, как собаки Павлова. Отец явно сделал это с умыслом. Ваше отсутствие в классе из ста человек или больше преподаватель заметит только при одном условии — если методично выработать у него привычку искать вас глазами. Между мной и доктором Сосой возник бессловесный контакт. Ловкач мой папа.

В тот день лекция началась с жестоких женщин. Таким образом было замаскировано то обстоятельство, что всю оставшуюся часть занятия обсуждали мужчин. Но я не помню, про что было в первой части. Наверное, упоминался женский ку-клукс-клан, движение трезвенников, пестрое множество религиозных кучек и весь этот ералаш насчет “девочки с девочкой”. Думаю, разброс был от Ирландии до Пакистана. Но доктор Соса определенно рассматривал их активность

не как самостоятельный почин, а скорее как придаток к тому, что делали мужчины. Не лежало у него сердце к жестоким женщинам.

Довольно быстро он вернулся к теме религиозно мотивированного насилия над женщинами, которая проходила через все занятие красной нитью. И вдруг, без малейшего предупреждения, заговорил о шимпанзе. По его словам, шимпанзе разделяют нашу склонность к жестокости в плане “свой — чужой”. Он описал поведение самцов шимпанзе, охраняющих границы, и их смертоносные рейдерские группы. Быть может, задал он риторический вопрос, и богословские раздоры — не более чем прикрытие для порочно клановой натуры людей как приматов. Нечто подобное мог бы выдать мой отец, и уже поэтому я ощутила иррациональный порыв возразить. Доктор Соса взглянул на меня, но я взяла и не кивнула. У шимпанзе самец низшего ранга все равно главнее, чем самка высшего ранга, продолжал он, не отрывая от меня глаз.

По комнате летала муха. Я ее слышала. У меня стыли ноги, я чувствовала запах своих кедов — запах резины и носков. Доктор Соса сдался и отвел взгляд.

Он повторил одну вещь, которую произносил

уже не раз: что большинство религий рьяно контролируют сексуальное поведение женщины и что суть и смысл многих из них именно в этом. Он описал сексуальное собственничество самцов шимпанзе: “Единственное отличие в том, что шимпанзе никогда не ссылаются на волю Господню”.

Доктор Соса отошел от кафедры, потом вернулся, пробежал глазами свои записи. Изнасилование, сказал он, как и домашнее насилие, тоже свойственны поведению шимпанзе. Группа Джейн Гудолл в Гомбе недавно наблюдала готовую к спариванию самку, которую самцы принудили к сексу 170 раз за трехдневный период.

Мне пришлось отложить ручку. Руки тряслись так, что стержень выписывал на бумаге безумную азбуку Морзе из точек и черточек. Следующую реплику доктора Сосы я пропустила, потому что кровь неистово зашумела у меня в голове, а когда на меня обернулись студенты, поняла, что слишком громко дышу: не то хриплю, не то сиплю, не то задыхаюсь. Я закрыла рот, и студенты отвернулись.

Надеюсь, вы не думаете, что если у меня не было друзей, то и секса тоже не было: при вы-

боре сексуальных партнеров планка намного, намного ниже. Хотя в отсутствие друзей это на удивление трудно; мне часто хотелось иметь под рукой человека, который меня бы направлял и ободрял. Но приходилось все выстраивать самой, спрашивая себя, почему у меня никогда не бывает гламурного секса, как в кино. Что такое нормальная сексуальная жизнь? Что такое нормальный секс? Может, само наличие вопроса — уже признак ненормальности? Как видно, у меня не получается наладить даже инстинктивные, животные части своей жизни.

— Ты очень тихая, — сказал мой первый партнер.

Мы встретились на вечеринке в общаге; я как раз впервые попробовала фруктовое желе на водке. Мы заперлись в ванной, и секс был очень даже шумный, на мой взгляд: народ непрерывно колотил в дверь и ругался, что не может попасть. Мне в позвоночник врезался бортик раковины, заниматься сексом под таким углом оказалось для новичков сложновато, и мы переместились на пол, на грязный коврик, но я не жаловалась и считала, что держусь молодцом.

Перед тем он сказал мне, что я стеснительная, так, будто делал комплимент, будто моя мол-

чаливость казалась ему загадочной и странно притягательной, ну или по крайней мере нравилась. Я помнила, какие звуки доносились из-за стенки родительской спальни, и могла бы издавать их сама, если бы понимала, что их хотят услышать. Просто для меня они были малоприятными и папо-мамскими.

Я знала, что первый раз будет больно, меня подготовили к этому странички с советами во всяких журналах, так что этот момент меня не встревожил. И больно было, причем жутко. А вот крови я не увидела, хотя готовилась и к этому. Потом боль повторилась — и во второй раз, и в третий, несмотря на то что мальчик был другой и пенис поменьше. Ни в одном журнале не говорилось, что больно будет так долго.

В итоге я пошла к нашему университетскому врачу, она заглянула внутрь и сказала, что виновата моя девственная плева: она настолько узка, что растянулась, но не порвалась. Поэтому дело было сделано в кабинете гинеколога при помощи специальных инструментов.

— Ну вот, путь открыт, — весело сказала доктор и тут же надавала предупреждений и советов: не позволяй втягивать себя в то, что тебе неприятно, и предохраняйся.

Всучила мне какие-то буклеты. Внизу дико болело, как будто спазм завязался узлом и затянул концы. Но главным образом это было унизительно.

В общем, что такое плохой секс, я знаю.

Но мне повезло. Никогда в жизни меня не принуждали к сексу, если в тот момент я сама его не хотела.

Когда я очнулась, доктор Соса уже перешел от обыкновенных шимпанзе к их (и нашим) близким родственникам бонобо.

— Социальная жизнь бонобо, — говорил он, — мирная и эгалитарная. Эти похвальные качества достигаются путем постоянного, повседневного сексуального общения, в большинстве случаев однополого. У бонобо секс — форма груминга. Фактически социальный клей. В “Лисистрате” все понято неправильно. Дорога к миру и согласию лежит через умножение сексуальных контактов, а не наоборот.

Студенты-юноши оживились. Удивительно: по сути, им сказали, что они существа примитивные и полностью управляемые своими членами (итифаллические, осмелюсь добавить), но их это нисколько не смутило.

Девушка через несколько рядов справа от меня

подняла руку и встала, не дожидаясь, когда ее вызовут. Ее светлые волосы были хитро заплетены в косы и унизаны бусинами. Обращенное ко мне ухо сжимали серебряные каффы.

— Откуда мы знаем, с чего все началось? — спросила она. — Может, самкам бонобо их самцы кажутся более привлекательными, чем мужчины — женщинам. То есть мир, эгалитарность — это сексуально, и дело не только в контроле над половой жизнью самок. Может, вам, ребята, стоит над этим задуматься.

Сзади кто-то издал звук, очень похожий на пищевой сигнал шимпанзе.

— У бонобо матриархат, — продолжала девушка. — А вдруг это он, а не секс делает общество мирным? Женская солидарность. Женщины защищают женщин. У бонобо это есть. У шимпанзе и людей — нет.

— Ну да, — сказал доктор Соса. — Хорошее замечание. Есть над чем подумать.

И мельком взглянул в мою сторону.

Последнюю лекцию семестра доктор Соса закончил тем, что мы начинаем тянуться к себе подобным с рождения. Трехмесячные дети предпочитают лица людей той расовой категории, которую они видят чаще всего. Дети постарше,

если разделить их на группы по совершенно произвольному признаку — цвету шнурков, ревностно держатся своих по сравнению с чужими.

— Относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе, — наш самый высокий, общепризнанный моральный принцип. Честно говоря, и единственный необходимый: все остальные вытекают из него сами собой; и десяти заповедей не нужно. Но если вы, как и я, считаете, что нравственность начинается с Бога, вам придется задать себе вопрос: почему Он одновременно зарядил нас против него? “Относись к другим так же” — неестественное поведение, не человеческое. Понятно, почему столько вер и верующих об этом принципе говорят, но немногие воплощают на деле. Он идет вразрез с чем-то глубоко присущим нашей природе. Вот в чем состоит человеческая трагедия: то общечеловеческое, что мы делим, основано на отрицании общечеловеческого.

Занятие кончилось. Аплодисменты — то ли понравилась лекция, то ли все обрадовались, что она кончилась. Доктор Соса сказал еще пару слов об экзамене. Это будет не простое отрыгивание дат и фактов. Он хочет посмотреть, как мы думаем. Снова взгляд на меня. Я могла бы одарить его

последним, утешительным кивком, но все еще была расстроена. Крайне расстроена. Так глубоко, что сердце пустилось в галоп.

Я и не слышала никогда о бонобо. Внезапно оказалось, что кто-то знает о шимпанзе гораздо больше, чем я. Это был сюрприз, и до странности неприятный. Но это было наименее важное, о чем мне предстояло поразмыслить.

Часть четвертая

Повторяю, меня не прельщало подражать людям; я подражал им только потому, что искал выход, иных причин у меня не было.

Франц Кафка
“Отчет для академии”

1

Сегодня, в 2012 году, когда весь интернет раскинулся передо мной, как “Конфетная страна” (или, может, “Змейки и лесенки” метафора поточнее, или “Сорри!” — в общем, любая из тех игр, которые никогда не кончаются, потому что выиграть в них невозможно), я пыталась выискать, что произошло с другими знаменитыми шимпанзе, отданными в семьи. Сведения об экспериментах найти не трудно, труднее узнать о судьбах объектов исследований. А если что и попадается, выходит довольно противоречиво.

Одна из первых шимпанзе, маленькая умная, покладистая Гуа, похоже, умерла в 1933-м от респираторной инфекции вскоре после того, как

семейство Келлог вернуло ее в исследовательскую лабораторию Йеркса, где она появилась на свет. Гуа прожила у Келлогов около девяти месяцев вместе с их малышом Дональдом и с легкостью затмила его в умении обращаться с вилкой и пить из чашки. Ей было два года, когда она умерла.

Вики Хейс родилась в 1947-м и умерла дома от вирусного менингита то ли в шесть с половиной, то ли в семь лет, на разных сайтах по-разному написано. После ее смерти родители развелись; по крайней мере, один из друзей заявил, что брак держался только благодаря Вики. Она была единственным ребенком.

Мэйбел (родилась в 1965-м) и Саломея (1971) обе умерли от тяжелой диареи всего через несколько дней после того, как каждая из приемных семей уехала в отпуск, оставив их дома. Никаких физиологических причин диареи выявлено не было.

После того как Алли (родился в 1969-м) вернули в исследовательский центр, у него также развилась угрожавшая жизни диарея. Он выдирал на себе шерсть, одна рука отнялась, но все это не убило его. По неподтвержденным слухам, он умер в 1980-х в медицинской лаборатории от экспери-

ментальной, но фатальной дозы инсектицида.

В двенадцать лет Люси Темерлин (родилась в 1964-м) отправили из дома в Гамбию жить среди других шимпанзе. Она выросла в Оклахоме в семье Темерлинов. Люси любила журнал “Плэйгерл”, чай, который заваривала сама, и чистый джин. Знала толк в инструментах и сексуально удовлетворяла себя при помощи пылесоса. Она была дикой девчонкой.

Но ничего не знала о жизни в дикой природе. Люси родилась на ферме шимпанзе “Ноэллев ковчег”, и через два дня ее забрали от матери в семью к людям. В Гамбии аспирантка-психолог Дженис Картер много лет старалась как можно мягче приучить ее к жизни в новых условиях. В этот период Люси страдала от тяжелой депрессии, теряла в весе и выдирала на себе шерсть. Последний раз ее видели живой в компании других шимпанзе, очевидно, смирившуюся с этим окружением, в 1987 году.

Спустя несколько недель были обнаружены и собраны ее разметанные кости. Распространилась версия, что Люси убили браконьеры, к которым она радостно бросилась навстречу. Версия также решительно опровергалась.

Ним Чимпски (1973–2000), звезда книг и телеэкрана, умер в исключительно раннем возрасте двадцати шести лет. К моменту смерти он жил на техасском ранчо для лошадей “Блэк бьюти рэнч”, но до этого у него было много других домов и приемных семей. Ним выучил двадцать пять или сто двадцать пять — данные расходятся — слов языка жестов, но его лингвистические способности разочаровали доктора Герберта Терреса, психолога, взявшего Нима для исследований. Когда тому исполнилось четыре, Террес объявил об окончании эксперимента. Нима отправили в Институт изучения приматов в Оклахоме.

Этот якобы провал Нима имел последствия для многих шимпанзе, обучавшихся языку жестов. Именно после него прекратилось финансирование подобных экспериментов.

Нима продали медицинской лаборатории, где он жил в тесной клетке, пока один из бывших аспирантов не пригрозил судом и не основал общественный фонд, который в конце концов все же его вызволил.

Уошо (1965–2007), самая известная из живших среди людей шимпанзе, тоже некоторое время провела в Институте изучения приматов в Оклахоме. Она стала первым в истории приматом,

обучившимся американскому языку жестов. В ее словаре было 350 “слов”. Умерла Уошо естественной смертью в сорок два года. Роджер Фоутс, начавший работать с ней еще в аспирантуре, посвятил свою жизнь защите и благополучию Уошо. Она умерла в приюте, который он устроил для нее на кампусе Центрального Вашингтонского университета в Элленберге, окруженная людьми и шимпанзе, знавшими и любившими ее.

Роджер Фоутс сказал, что благодаря Уошо понял, что в выражении *человеческое существо* слово *существо* куда важнее слова *человеческое.*

Потребность написать книгу явно будоражит всех нас, живших бок о бок с обезьянами. У каждого свои причины. “Обезьяна и ребенок” о Келлогах. “Ближайший родственник” об Уошо. Вики в “Обезьяна в нашем доме”. Ним в “Шимпанзе, который стал бы человеком”.

Книга Мориса Темерлина “Люси: растить человека” заканчивается 1975 годом, когда Люси исполнилось одиннадцать. Темерлины удочерили ее, как и многие подобные семьи, как и мои родители, веря, что они готовы принять на себя пожизненные обязательства. Но в конце книги Темерлин пишет об острой тоске по нормальной жизни. Они с женой долгие годы не делили по-

стель, потому что Люси это не нравилось. Они не могут уехать в отпуск или позвать друзей на ужин. В их жизни нет уголка, который не был бы занят Люси.

У Люси имелся старший брат, человек, по имени Стив. Я не могу найти ни одного упоминания о нем после 1975 года. Но нахожу сайт, на котором рассказывается, что Дональд Келлог, ребенок, полтора года росший вместе с маленькой Гуа — конечно, он ничего не вспомнит о том времени, которое, однако, подробно задокументировано в записях, книгах и на домашнем видео, — покончил жизнь самоубийством в сорок три года. Другой сайт утверждает, что у Дональда была откровенно обезьянья походка, но это расистский сайт, так что нет ни малейших оснований ему доверять.

2

Через пару часов после лекции доктора Сосы я встретилась с Харлоу в центре Дэвиса, в местечке с бургерами и пивом под названием “Грэдюэйт”. На улицах было темно, зябко и промозгло, хотя дождь уже кончился. В другой ситуации я, быть может, и оценила бы всю эту черную магию — фонари в коконах тумана, велосипедные фа-

ры, выхватывающие из мрака лужи на черном асфальте. Но меня все еще крепко укачивало от резкого поворота в лекции доктора Сосы. Этим вечером я намеревалась напиться. В Дэвисе езда на велосипеде в нетрезвом виде грозит теми же штрафами, что и на автомобиле, — я отказывалась мириться с такой откровенной глупостью.

Пристегнула велосипед; меня била сильная дрожь. Вспомнила сцену из “Этой замечательной жизни”, где Кларенс Одбоди заказывает горящий ромовый пунш. Горящий ромовый пунш был бы очень кстати. Я бы в нем искупалась.

Открыла тяжелую дверь и окунулась в гомон и гвалт. Я всерьез подумывала рассказать Харлоу, что узнала сейчас о сексе у шимпанзе. Зависит от того, как сильно я напьюсь. Но тем вечером я была захвачена идеей женской солидарности и решила, мне станет легче, если я открыто поговорю с другой женщиной о чудовищном поведении самцов шимпанзе. Поэтому не обрадовалась, обнаружив, что к нам присоединился Редж. Редж явно был не из тех, с кем можно плодотворно обсудить секс у шимпанзе.

Еще меньше я обрадовалась при виде мадам Дефарж. Она восседала на коленях у Харлоу, поводя головой из стороны в сторону и разевая пасть,

как кобра. На Харлоу были вконец изношенные джинсы, которые держались только благодаря заплаткам с вышитыми на них горами, радугами и листьями марихуаны, так что ее колени были вполне примечательным местом. “Я с ней очень аккуратна”, — сообщила Харлоу, явно раздраженная тем, чего я и произнести-то не успела. Уже смекнула, что со мной не оторвешься. И правильно смекнула. Наше общение началось многообещающе — расколотили посуды в лучших традициях девочки-обезьянки, вместе удалились в участок. Но я видела, она пересматривает свое отношение. Не так со мной и весело, как она думала. Не оправдывала ожиданий.

Но пока она милостиво все это отбросила. Харлоу только что узнала, что на театральном отделении весной будут ставить “Макбета”, где мужчины и женщины меняются ролями. Разумеется, она сказала не “Макбет”, а “шотландская пьеса”, как пренеприятнейше заведено у студентов факультета. Мужчин будут играть женщины, а женщин — мужчины. Харлоу позвали помочь со сценографией и костюмами, и мне редко доводилось видеть ее в таком радостном возбуждении. Все изначально настроены, доложила она, что и актеров переоденут соответственно, но она

надеялась отговорить режиссера.

Редж доверительно сообщил, что публике мало что так по душе, как мужчина в женском платье. Харлоу раздраженно отмахнулась. “Разве не интереснее, — сказала она, — не прям-таки вынос мозга, если не меняться костюмами?” Ведь это будет недвусмысленным намеком на место, в котором доминирующей парадигмой станет женщина; все, что в нашем мире обозначает “женское”, будет воплощать власть и политику. Женское станет нормой.

Харлоу сказала, что уже сделала несколько набросков замка в Инвернессе, пытаясь изобразить это причудливое женское пространство. Самое время ввернуть про изнасилования среди шимпанзе, но это убило бы все настроение на корню. Харлоу переполняли надежды и планы.

Мужчины покупали выпивку мадам Дефарж.

Редж предложил мне ее бокал, темный эль с резким ароматом хмеля. Ледяная стеклянная кружка была теплее моих ладоней, пальцы совсем онемели. Редж поднял свое пиво, предлагая выпить. “За суперсилы!” — произнес он, чтобы я не подумала, будто прошлое позабыто. И понеслось.

Скоро я уже обливалась потом. Бар набился до

отказа; играл диджей, народ отплясывал какие-то безумные групповые танцы. В зале пахло пивом и телами. Мадам Дефарж скакала по столам и спинкам стульев. *“Basket Case”*[13] группы “Грин дэй” гремела из колонок.

Харлоу и Редж ругались, перекрикивая музыку. Я слышала почти все. Если в двух словах, Редж считал, что она флиртует со всеми парнями в баре, а Харлоу считала, что это мадам Дефарж флиртует. Харлоу просто-напросто устраивает перформанс, и ребята в баре прекрасно это понимают.

— Да конечно, — заметил Редж. — Компашка тонких ценителей. Истинных любителей искусства.

Редж сообщил, что у мужчин искусство перформанса ассоциируется с женщинами, разрисовывающими свое тело менструальной кровью, и им это не нравится. А вот шлюхи — другое дело, шлюхи им очень даже.

Харлоу считала, есть существенное различие между шлюхой и женщиной, управляющей шлюховатой марионеткой. Редж считал, что нет никакой разницы, ну или женщины полагают,

---

[13] Примечания: 13
Безнадега *(англ.).*

что она есть, только мужчинам на это плевать.

— Ты меня зовешь шлюхой? — рявкнула мадам Дефарж. — Кто бы говорил, мать твою!

Музыка стала медленнее, но не тише. Харлоу с Реджем вернулись к своим напиткам. Белый парень в надетой задом-наперед бейсболке — “рэпер хренов”, сообщил мне Редж так, чтобы парень услышал, что означало очень громко, — подошел и пригласил Харлоу потанцевать. Она всучила ему мадам Дефарж.

— Видишь? — сказала она Реджу. — Она танцует с ним, а я танцую с тобой.

Она протянула руку, и Редж привлек Харлоу к себе. Они отошли от барной стойки, прильнув друг к дружке, ее руки на его плечах, его — в ее задних карманах. Парень в перевернутой бейсболке в недоумении таращился на мадам Дефарж, пока я не забрала ее, сказав:

— Она не для танцев. Очень ценная.

Диджей зажег стробоскоп. Бар превратился в какой-то танцзал проклятых. Редж вернулся и долго мне что-то рассказывал, его лицо от стробоскопа мигало, как на перемотке слайдов. Я кивала, пока меня не укачало, потом уставилась на изгиб его острого носа, чтобы сфокусироваться. Он не кричал, поэтому я не слышала ни слова.

Я еще покивала, выказывая согласие, и одновременно втолковывала, что его соображения о суперсилах — полная ахинея, не имеющая ни малейшего отношения к реальной жизни. “Чепуха, — говорила я. — Вздор. Чушь. Ерунда. Пурга. Дичь”.

Мой взгляд упал на его грудь. На футболке был ярко-желтый принт дорожного знака с контурами бегущего семейства. Впереди отец тащил за руку жену. Жена тащила ребенка, а ребенок — куклу, тоже за руку. Я из Индианы, и Дэвис — не Сан-Диего. Я понятия не имела, что это настоящий дорожный знак, предостерегающий от наезда на нелегальных иммигрантов. Ребенок и кукла летели по воздуху, так быстро бежала эта семья. Я видела, как напряжены их ноги, как развеваются косички маленькой девочки. Тут, наверное, стоит упомянуть, что я приняла пару таблеток, выданных Харлоу. Хорошо еще, я раньше не сталкивалась с давлением сверстников; выяснилось, что у меня с этим обстоит неважно.

— Хрень собачья, — сказала я. — Туфта. Брехня. Бред сивой кобылы.

Редж сказал, ничего не слышно, так что мы вышли на улицу, где я поведала ему о зеркальном тесте. Не помню, с чего мне это пришло в голову,

но я чуть ли не лекцию ему прочла. Рассказала, что некоторые особи, например, шимпанзе, слоны и дельфины узнают себя в зеркале, а другие, как собаки и голуби, гориллы и дети — нет. Уже Дарвин задумался об этом, когда однажды поставил на землю в зоопарке зеркало и наблюдал, как в него смотрятся два молодых орангутана. А позднее, сто лет спустя, психолог Гордон Гэллап усовершенствовал тест и наблюдал, как шимпанзе используют зеркало, чтобы заглянуть в свои рты, увидеть части тела, которые можно рассмотреть только с его помощью. Я сказала Реджу, что мы пользуемся зеркальным тестом для самопознания со времен *чертова Дарвина,* и поверить не могу, что такой парень, между прочим, студент, полагающий, что знает все на свете, не в курсе таких фундаментальных вещей.

И потом невесть зачем — просто потому, что знала это — добавила, что психомантиумом называли зеркальную комнату, в которой люди пытались вступить в общение с духами умерших.

Мне вдруг подумалось, чем бы обернулся зеркальный тест в случае с идентичными близнецами, но я ничего не сказала, поскольку у меня не было ответа, а он мог бы сделать вид, что знает.

Возможно, я хотела вернуть поколебавшееся после откровений доктора Сосы ощущение собственной компетентности.

Я определенно вела себя как дура. Помню, Редж заметил, что болтать я горазда, и помню, хлопнула себя по губам, как будто меня раскусили. Потом Редж сказал, пора возвращаться внутрь, потому что я опять дрожу. И потому что он вроде уже все, что нужно, о зеркальном тесте узнал.

3

Дальнейшее осталось в моей голове в виде бессвязной нарезки кадров, к которой нас приучило кино. “Девочка-обезьянка: возвращение”, сбивчивая, рваная безумная гонка через весь город.

Вот я пытаюсь купить риса в кафе “Джек-ин-зебокс”. Редж, будучи не в духе, уже укатил домой. Харлоу восседает на моем велосипеде, а я опираюсь на руль. Мы долго зачитываем наш заказ в микрофон, по сто раз все меняя и сверяясь, точно ли нас поняла женщина на том конце, и в результате она отказывается нас обслуживать, потому что мы не на машине; она велит нам идти внутрь. Следует перепалка, которая заканчивается тем, что женщина зовет другую женщину, выше нее

по должности, и та посылает нас ко всем чертям. Слова *ко всем чертям* с треском раздаются из похожей на снежок головы Джека[14]. Харлоу срывает микрофон, вооружившись одним лишь ключом от квартиры.

Вот я в пабе “Джи-стрит паб”, меня клеит черный парень в именной бейсбольной куртке, то есть, скорее всего, старшеклассник, но мы запойно и долго целуемся, так что все же надеюсь, что нет.

Вот я сижу, скрючившись, на мокрой скамейке у вокзала, уткнувшись лицом в коленки. И рыдаю, рыдаю, потому что сорвалась и все же представила то, что ни разу не давала себе представить. День, когда забрали Ферн.

Я никогда не узнаю доподлинно, что произошло. Меня там не было, Лоуэлла там не было. Могу поспорить, что и мамы там не было, а может, даже и папы.

Наверняка Ферн накачали снотворным. Наверняка она проснулась в незнакомом месте, как и я тем первым утром в моей новой комнате. С той лишь разницей, что, когда я заплакала, ко

---

[14] Примечания: 14

Микрофон для заказов популярной на Западном побережье сети фастфуда украшала голова Джека в виде мячика для пинг-понга.

мне пришел папа. А кто пришел к Ферн? Может, Мэтт? Я позволяю себе это маленькое утешение — представить, что Мэтт был рядом, когда она проснулась.

Я воображаю ее такой, какой помнила в последний раз, безудержно пятилетнюю. Но теперь она не в домике на дереве швейцарской семьи Робинзонов, а в клетке со взрослыми, большими незнакомыми шимпанзе. Ползучее дерьмо! — говорит она, и дальше ей предстоит выучить свое место. Не просто что она — шимпанзе, но еще и самка, а значит, ниже по статусу, чем любой самец. Я знаю, Ферн никогда не согласилась бы на такое без боя.

Что они делали с ней в этой клетке? Да что бы ни было — случилось оно, потому что никто из женщин не воспротивился. Женщины, которые должны были постоять за Ферн — моя мать, аспирантки, я, — никто из нас не помог. Вместо этого мы изгнали ее туда, где не было ни намека на женскую солидарность.

Я все еще плачу, но каким-то образом очутилась в кабинке непонятно где — это не бар, потому что слышно все, что говорят вокруг. Я тут с Харлоу и двумя парнями, плюс-минус нашими ровесниками. Тот, что посимпатичнее, сидит рядом с

ней, рука на спинке ее диванчика. У него длинные волосы, и он то и дело встряхивает головой, откидывая их с глаз. Второй парень явно предназначен для меня. Он довольно низкого роста. Мне это неважно. Я и сама невысокая. Альфа-самцам предпочитаю бета. Только он все уговаривает меня улыбнуться. “Не так уж все плохо”, — замечает он. Было бы мне пять, вздула бы его хорошенько.

Меня задевает и то, что слишком очевидно: я — утешительный приз. Никто даже не пытается сделать вид, что оно не так. Как будто мы все играем в мюзикле, и Харлоу с ее парнем — главная романтическая пара, им достаются все лучшие песни и главные реплики. Все, что про них, имеет значение. А мы с моим парнем там просто для комического контраста.

“Я даже имени твоего не знаю”, — отвечаю, чтобы он понял, почему я вовсе не обязана ему улыбаться. Хотя, справедливости ради, не исключено, что нас и представили в какой-то момент, да я не слушала.

Наверное, я не произнесла это вслух, потому что никто мне не ответил. Он часто моргает, как будто ему что-то в глаз попало. Я и сама в линзах, и после всех этих рыданий ощущение такое, словно я себе пустыню Мохаве выцарапала

на глазных яблоках. Вдруг уже ни о чем другом и думать не могу, как об этой ноющей, острой, жгучей боли в глазах.

Харлоу наклоняется ко мне через стол, берет за руку и трясет.

— Послушай меня, — говорит с нажимом. — Ты слушаешь? Вникаешь? Что бы тебя ни расстроило, это только фантазии. Это не на самом деле.

Я вижу, как утомила парня напротив.

— Да соберись уже, мать твою, — говорит он.

Я отказываюсь быть ниже статусом, чем этот невыносимый придурок. Я отказываюсь улыбаться. Я лучше умру.

Мы все еще в этой кабинке, но теперь с нами Редж. Он сидит рядом с Харлоу, парень с длинными волосами рядом со мной, а низкорослый — на стуле в торце. Не помню, как так получилось, и страшно зла на все эти перестановки. Невысокий парень нравится мне больше длинноволосого, но кто ж меня спрашивает?

Все мужчины явно на взводе; того и гляди заполыхают световые мечи. Редж играется с солонкой, запускает ее, как волчок, и сообщает, что на кого она укажет, тот мудак. Длинноволосый парень говорит, что *ему* для этого не нужна солонка; *он* мудака и так с первого взгляда распознает.

— Расслабься, чувак, — призывает Реджа низкорослый парень. — Ты же не претендуешь на обеих!

Редж накаляет обстановку, изображая жестом “лузера”. И не просто букву “л” двумя пальцами у лба, но и наставив средний палец прямо на парня, что сохраняет обычное значение, но вдобавок превращает просто лузера в “лузера, с какой стороны ни глянь”. Длинноволосый парень шумно втягивает воздух. Еще немного, и будет мордобой.

Я гадаю: если заняться сексом со всеми тремя, они бы угомонились? Потому что пока ничто не предвещает разрядки.

Очевидно, это я-таки произношу вслух. Пытаюсь объяснить, что я чисто гипотетически. Пытаюсь рассказать им о лекции Сосы, но не слишком успешно, потому что *бонобо* такое смешное слово и у них у всех такие смешные лица, что я начинаю смеяться. Поначалу все тоже смеются, но потом перестают, а я — нет. Им было не по душе, когда я плакала, и теперь, когда смеюсь, все равно всех чертовски раздражаю.

Теперь я в туалетной кабинке, выблевываю по кусочкам пиццу. Закончив, выхожу к умывальникам сполоснуть лицо, а там трое мужчин у

писсуаров. Промахнулась с туалетом.

Один из мужчин — Редж. Тыкаю на его лицо в зеркале.

— Кто это? — спрашиваю. И подсказываю — это тест на сообразительность.

Вынимаю линзы и сливаю их в раковину, потому что именно так поступают с одноразовыми вещами; от них избавляются. К тому же на что тут смотреть? Из зеркала на меня пялится бледное лицо, как с фото из полицейского участка. Я категорически не принимаю его. Уж конечно, я так не выгляжу. Это явно кто-то другой.

Редж протягивает мне мятную пастилку. Пожалуй, ни один мужчина не проявлял ко мне такой заботы. Он вдруг кажется мне исключительно привлекательным.

— Ты слишком близко стоишь, — говорит он. — Тебе никогда не говорили, что ты малость наваливаешься на людей? Нарушаешь личное пространство?

Вот так в один миг чары рассеиваются.

Я кое-что вспоминаю.

— Тебе нужно до хера много места, — говорю.

И сразу, прежде чем он возомнит, будто мне есть дело до его нужд, меняю тему.

— Людей слишком легко превратить в мерзав-

цев, — сообщаю я, отчасти чтобы увести разговор в другую сторону, отчасти потому, что так оно и есть, и повторить это нелишне. — Можно на раз выдрессировать любое животное делать что угодно, если это естественное поведение. Расизм, сексизм, видовая дискриминация — все это естественное человеческое поведение. Их с полпинка может спровоцировать любой бессовестный чурбан, вещающий хоть с табуретки. Да хоть ребенок.

— Нападать всем скопом — естественное человеческое поведение, — произношу с тоской. Я снова в слезах. — Травля.

Способность к сопереживанию тоже относится к естественному человеческому поведению, и среди шимпанзе она тоже развита. Когда видишь чужую боль, мозг до некоторой степени реагирует так, будто эту боль испытал ты сам. Реакция рождается не только в мозжечковой миндалине, хранящей наши эмоциональные воспоминания, но и в участках коры головного мозга, ответственных за анализ поведения других. Мы обращаемся к нашему собственному опыту столкновения с болью и переносим на того, кто испытывает ее в данную минуту. Есть в нас, в общем, и что-то хорошее.

Но тогда я этого еще не знала. И доктор Соса явно тоже.

— Тебе пора домой, — говорит Редж, но я так не считаю. По мне, вовсе даже не пора.

Мы с Харлоу бредем по туннелю автомойки “Шелл”. Здесь очень специфично пахнет мылом и шинами, и мы слегка спотыкаемся, потому что наступаем на насадки для щеток и транспортерные ленты, и еще что-то, чего не видать. Мы сходимся в том, что в детстве любили сидеть в машине, пока ее мыли. Это было здорово. Как будто ты в космическом корабле или на подводной лодке, и о стекло шмякаются гигантские тряпичные кальмары. Я касаюсь гигантских тряпичных кальмаров, они влажные и упругие, как и положено.

А вода бьет и бьет, заливая окна, но внутри уютно и сухо. Что может быть лучше? Ферн обожала это, но я гоню мысль прочь. Она немедленно возвращается: Ферн умело расстегивает застежки на детском кресле и скачет от окна к окну, чтобы ничего не упустить.

Харлоу говорит, что иногда казалось, будто машина едет, но это была оптическая иллюзия из-за движущихся щеток, я вторю, что и со мной было точь-в-точь похоже. *Точь-в-точь похоже.*

Снова гоню прочь мысли о Ферн, меня прет от того, как мы с Харлоу во всем совпадаем, я торчу от ее одобрения. У нас столько общего!

— Когда буду выходить замуж, — говорю я, — хочу, чтобы свадьба была на автомойке.

Харлоу считает это гениальной идеей, она тоже так хочет.

Я снова в пабе “Джи-стрит паб”. Мы с Харлоу играли в бильярд, мне с трудом дается удержать шары на столе, не то что в лузу отправить.

— Ходячий позор игры в бильярд, — бросает Харлоу, и после этого я теряю ее след, нигде не могу найти.

Я гляжу на худого парня. У него волосы высветлены почти до белого. Не раздумывая, бросаюсь ему в объятия и называю настоящим именем. Прижимаюсь к его груди изо всех сил, желая вдохнуть запах моего брата — смесь хозяйственного мыла, лаврового листа и хрустящих хлопьев на завтрак. Он осветлил волосы и похудел, атлетом его теперь не назовешь, но я узнаю его всегда и повсюду.

Я реву.

— Совсем взрослая, — говорит он мне на ушко. — Даже не узнал, пока ты на стол не влезла.

Я крепко вцепляюсь в его рубашку; ни за что

теперь не отпущу. Но передо мной появляется полицейский Эрни Хэддик.

— Я забираю вас в участок, — произносит он, качая большой круглой головой. — Там проспитесь и, может, хорошенько подумаете над тем, что творите и с какой компанией водитесь.

Полицейский Хэддик говорит, что обещал Винсу (это мой отец, если вы вдруг позабыли) держать меня подальше от улицы. Говорит, пьяная женщина всегда напрашивается на неприятности.

Он выводит меня из паба, галантно усаживает в полицейскую машину, на этот раз без наручников. Харлоу уже там. Скоро мы окажемся вместе в одной камере, хотя, как недвусмысленно заявит наутро полицейский Хэддик, мне не следует водиться с такой компанией.

— Надо бы перестать вот так встречаться, — говорит Харлоу.

Хочу спросить полицейского Хэддика, видел ли он парня с белыми волосами, но не могу. Брат исчез так окончательно и бесповоротно, что уже кажется, я его выдумала.

4

Не сомневаюсь, что избежала бы второго раза за решеткой, если бы просто сразу заснула. Но

белые таблеточки Харлоу все еще брыкались, как дикие лошади, в синапсах моего мозга. Что еще хуже, в седле неслась Ферн. Столько лет я держала оборону, и вдруг Ферн заполонила собой все. Я не могла *не* видеть, что меня схватили и отволокли в клетку, точно так же, как когда-то схватили и отволокли в клетку ее. Я была уверена, что меня отпустят на следующее утро, и гадала, как было у нее. Куда ужаснее, чем вообразить ее напуганной, — представить, как она не сомневалась, что все это просто ошибка, и мы вот-вот придем на помощь, и она снова вернется домой, в свою кроватку.

И, как и Ферн, в клетке я была не одна. С нами оказалась пожилая дама, с материнским участием пытавшаяся нас обустроить. На ней был потертый линяло-розовый махровый халат, на лбу грязное пятно, как будто на дворе пепельная среда, первый день Великого поста. Седые волосы пушились, как у одуванчика, слегка облетевшего с одной стороны. Она сообщила, что я — вылитая Шарлотта. “Какая именно?” — уточнила я.

Ответа не последовало, оставалось только гадать. Шарлотта Бронте? Шарлотта из “Паутины Шарлотты”? Шарлотта в Северной Каролине? Я вдруг вспомнила, как мама плакала, дочитывая

мне “Паутину Шарлотты”. Она резко осеклась, словно поперхнувшись, глаза у нее покраснели, щеки были мокрые от слез. И тогда появилось жуткое предчувствие, к чему все идет, тем более Шарлотта была уже плоха, но все же довольно неопределенное, потому что мне еще не доводилось читать книжки, в которой бы кто-то умирал; этой возможности в моей картине мира не существовало, здесь я была невинна, как Ферн. Она, лежа на коленях у матери, лениво повторяла свой знак для паука. *Ползучая кака. Ползучее дерьмо.*

Ферн особенно любила “Паутину Шарлотты”, может, оттого, что так часто слышала собственное имя, когда мама читала вслух. Интересно, мама имя оттуда взяла? Никогда не приходило в голову спросить. Что же она имела в виду, назвав нашу Ферн в честь единственного человеческого персонажа, который понимал язык животных?

Тут я заметила, что руки сами показывают *ползучее дерьмо.* И я им не указ. Я подняла их и наблюдала за тем, как двигаются пальцы.

— Поговорим утром, — предложила дама, не догадываясь, что я и так уже *говорила.* — На свежую голову.

Она велела нам выбрать койку, которых было четыре, и ни одна не манила. Я легла, с трудом

закрыв глаза, но они тут же открылись. Пальцы дрожали. Ноги гудели. Мысли перескакивали от “Паутины Шарлотты” к знаменитым экспериментам, в которых невинных, ничего не подозревающих пауков накачивали разными препаратами. А потом к знаменитым фотографиям паутин, которые те сплетали под их воздействием.

Я и сама выткала довольно затейливую паутину — крепко зависла между сном и явью, пытаясь разобраться в видениях и ассоциациях, которые обрушились на меня волной обломков, вынесенных на берег после кораблекрушения. Здесь шимпанзе. Там шимпанзе. Повсюду шимп-шимпанзе.

Я подумала, что если, как утверждает Редж, суперсилы неизменны, а не относительны, тогда, выходит, Человек-Паук не способнее Шарлотты. Вообще говоря, по сравнению с Шарлоттой Питер Паркер жалкий трус. Я несколько раз повторила это про себя. Питер Паркер жалкий трус. Питер Паркер жалкий трус.

— Хватит уже, — сказала пожилая дама.

Непонятно, то ли я говорила слух, то ли она читала мои мысли. И то, и другое вполне вероятно.

— Харлоу, Харлоу! — прошептала я.

Нет ответа. Я подумала, Харлоу заснула, а зна-

чит, она не пила тех таблеток, что всучила мне. Может, их было мало, и она как хороший друг отдала все мне, благородно обделив себя. А может, отлично понимала, чем это чревато, и отдать мне было проще, чем спустить в туалет. Может, до туалета было дальше, а я под боком.

А может, она вовсе не спала.

— Все же я думаю, что суперсилы относительны, — сообщила я ей на всякий случай. — Шарлотта не супергерой только потому, что она — паучиха и может перескакивать со стены на стену на своей паутине. Ее суперсила в том, что она умеет читать и писать. Важен контекст. Контекст решает все. *Умвельт.*

— Замолкнешь ты уже наконец? — устало подала голос Харлоу. — Ты хоть в курсе, что ты всю, мать твою, ночь не унималась. Несла какую-то околесицу.

Я ответила на это странноватой помесью девочки-мартышкиной тревоги и ностальгии. И выдержки. Не так уж много я и говорила. Если Харлоу меня доведет, я ей покажу, что такое всю ночь, мать твою, не униматься. И представила, как, окажись здесь Ферн, она без труда бы взмахнула на стену и обмочила сверху Харлоу от души. Так отчаянно не хватало Ферн, что я аж

задохнулась.

— Кончай болтать! — рявкнула пожилая дама. — Глаза закрыли и молчим. Я не шучу, подруга.

Мама всегда говорила, что очень невежливо, когда люди, которые не могут уснуть, будят тех, кто спит. Отец думал иначе. “Ты и представить не можешь, — сказал он ей однажды за полусонным завтраком, налив себе в кофе апельсинового соку и хорошенько посолив. — Ты и представить не можешь, какую испепеляющую злобу у человека с бессонницей вызывает блаженно посапывающий рядом счастливец”.

Так что я постаралась вести себя тихо. Передо мной замелькал калейдоскоп паутин. Целый кордебалет пауков отплясывал канкан перед моими глазами, в ритме вальса задирая ногу за ногой, за ногой, за ногой. Я могла навести фокус на их глаза-соты, на их жуткие челюсти. Могла отъехать подальше и сверху наблюдать сложные геометрические композиции из их машущих ног.

Свет здесь не выключали. Бальные мелодии паучьих танцев сменились хардкором. Кто-то захрапел. Казалось, именно храп не дает мне уснуть. Мысли потекли в ритме китайской пытки водой: *Умвельт. Умвельт. Умвельт.*

Остаток ночи был бесконечной чередой снов, снятых Дэвидом Линчем. Время от времени в них ввинчивалась Ферн. Иногда ей было пять, и она выделывала свои обратные сальто, перескакивала с ноги на ногу, гонялась за своим шарфом или нежно покусывала мои пальцы, просто для острастки. Иногда у нее было крупное, тяжелое туловище взрослой обезьяны, и она смотрела на меня так безучастно, будто неживая, и ее приходилось тащить через всю картинку, как куклу.

К утру удалось упорядочить мои мысли в унылой системе координат. Вертикальная ось: пропавшие вещи. Горизонтальная ось: виденные в последний раз.

Первое: где мой велосипед? Не могу вспомнить, где он был в последний раз. Может, в “Джек-ин-зе-бокс”. Резко всплыл в памяти выдранный микрофон. Пожалуй, будет правильнее какое-то время держаться подальше от “Джек-ин-зе-бокс”.

Второе: где мадам Дефарж? Я не видела ее с тех пор, как мы ушли из “Грэдюэйт”. Хотела спросить Харлоу, но слишком устала, чтобы придумать как.

Этот вопрос гарантированно взбесил бы ее и в более удачных обстоятельствах, но то были не они.

Третье: где мамины дневники? Она и правда никогда про них не спросит или когда-нибудь все же придется признаться, что я их потеряла? И это будет ужасно несправедливо, потому что я так редко теряю вещи и, как говорил незабвенный Хан Соло, я не виновата.

Четвертое: где мой брат? Он явно был рад меня видеть, но я, поначалу испытав облегчение, не переставала тревожиться. Что он подумал, став свидетелем моего уж очень короткого знакомства с полицией? Что, если его там вовсе и не было?

Приехал сын пожилой дамы и забрал ее обратно в дом престарелых, сто раз извинившись за то, что она, видимо, наговорила и что, похоже, расколотила. Храп убыл вместе с нею.

Когда дверь камеры отворилась наконец и для меня, я была уже совсем без сил и шла, держась за стены. Полицейский Хэддик провел со мной беседу, в которой я от усталости поучаствовать не могла, что, однако, не сказалось на ее продолжительности.

Редж приехал за Харлоу, а заодно подвез и меня. Дома, в полуобморочном состоянии покачиваясь под горячей водой, я приняла душ. Легла в постель, но не могла закрыть глаз. Жуткое ощущение, когда ты абсолютно выжата, но голова

продолжает работать.

Я встала, пошла на кухню, сняла конфорки и вымыла плиту. Открыла холодильник и уставилась в него, хотя есть вообще не хотелось. Подумала, хорошо еще, Харлоу не дала мне “стартовый” наркотик. Скорее, финишный наркотик. В рот не возьму больше этой дряни.

Тодд встал и спалил тосты, так что от дыма зазвенела пожарная сигнализация, пришлось заткнуть ее шваброй.

Никто не отвечал на телефон у Харлоу и Реджа. Я позвонила трижды и оставила два сообщения. Я знала, что надо взять да сходить в “Грэдю-эйт”, проверить, не вернул ли кто марионетку. Меня охватила паника при мысли, что я ее потеряла, а она такая ценная и дорогая, и все такое. Одно дело мой велик, но мадам Дефарж даже и не моя вовсе. Как я могла быть такой легкомысленной? А потом, видимо, наркотик наконец выветрился, потому что следующее, что я помню, как просыпаюсь в кровати, и за окном ночь.

В квартире кромешная тишина. Даже проспав несколько часов, я все равно совершенно измотана. Снова проваливаюсь в дрему и вижу сон, который ускользает, словно вода между сном и явью, когда я выныриваю из него в одно воспоми-

нание. Как-то много лет назад Лоуэлл пришел ко мне ночью и разбудил. Думаю, мне было шесть, а ему, значит, двенадцать.

Я всегда подозревала, что Лоуэлл где-то блуждает по ночам. На первом этаже была только его спальня, так что он мог незаметно выбираться через дверь или окно. Не знаю, куда он уходил. И не знаю наверняка, уходил ли. Но знаю, что он тосковал по просторам вокруг нашего фермерского дома. Тосковал по вылазкам в леса. Однажды он нашел там наконечник стрелы и пару камней с изображениями костей маленьких рыбок. В нашем нынешнем убогом дворе это было невозможно.

В тот раз он велел мне тихонько одеться, и меня разрывало от вопросов, но я держалась, пока мы не оказались на улице. За пару дней до того я ступила на траву, и ногу пронзила острая боль. Завопив, я обнаружила в ступне жало и болтавшуюся на нем пчелу. Она дергалась и жужжала, пока не умерла. Под мои крики мама вынула жало и отнесла меня в дом, промыла ногу и наложила содовый компресс. С тех пор я была пчелиной королевой нашего имения, меня переносили с кресла на кресло, подавали книжки и наливали сок. Лоуэллу этот санаторий явно

поднадоел. Мы вышли на улицу и направились к холму Бэллентайн. Нога была в порядке.

Стояла летняя ночь, жаркая и тихая. На горизонте вспыхивали зарницы, светила луна, и черное небо было усеяно звездами. Дважды, завидев огни приближающихся машин, мы ныряли за деревья или кусты.

— Надо сойти с улицы, — сказал Лоуэлл.

Мы срезали путь через лужайку, которая вывела нас в странный задний двор. В доме залаяла собака. Наверху в окне загорелся свет.

Само собой, всю дорогу я трещала не умолкая. Куда мы идем? Почему не спим? Что за сюрприз? Это тайна? Сколько я уже должна быть в постели? Я первый раз так поздно еще не сплю, да? Это очень поздно, чтобы в шесть лет еще не спать, да? Лоуэлл прикрыл мне рот рукой, от его пальцев пахло зубной пастой.

— Представь, что мы индейцы, — шепотом сказал Лоуэлл. — Индейцы никогда не разговаривают, пробираясь по лесу. Они идут так тихо, что даже шаги не слышны.

Он убрал руку.

— Как они это делают? — спросила я. — Это волшебство? Только индейцы так могут? Сколько надо взять от индейца, чтобы тоже так уметь?

Может, надо носить мокасины?

— Шш-ш, — шикнул Лоуэлл.

Мы прошли еще несколько дворов. Видеть в темноте оказалось проще, чем я думала. Ночь не была так уж тиха. Я слышала уханье совы, мягкое и округлое, как когда дуешь в бутылочное горлышко. Низкие басы лягушек. Шаги Лоуэлла, не тише моих, как я отметила.

Мы вышли к изгороди со щелью, в которую пролезли на четвереньках. Если уж она достаточно велика для Лоуэлла, для меня, значит, и подавно. И все-таки я оцарапалась о колючие листья. Но смолчала: подумала, Лоуэлл может отправить меня домой, если пожаловаться. Поэтому указала на то, что не жалуюсь, хотя поцарапала ногу и она жжется.

— Я еще не хочу домой, — поспешила добавить.

— Тогда помолчи хоть минуту, — велел Лоуэлл. — Смотри и слушай.

Кваканье раздавалось теперь громче и мощнее, но по ручью в нашем прежнем доме я знала, что громкий голос частенько подает маленькая лягушка. Я встала у дальнего конца изгороди. Перед нами чашей лежал двор, совсем как таинственный сад из книжки. Склоны усажены деревьями,

и трава мягче, чем у нас дома. На дне чаши пруд, слишком безупречный для нерукотворного. У берега росли камыши. В лунном свете вода походила на серебряную монету с заплатами черных листьев лилий.

— В пруду есть черепахи, — сказал Лоуэлл. — И рыбки.

В кармане у него были крошки от крекеров. Он дал их мне побросать в воду, и поверхность зарябило, как от дождя, только если бы он шел снизу вверх. Я наблюдала, как расходятся круги от рыбьих ртов.

За прудом на склоне виднелась дорожка, которую охраняли две статуи псов, похожих на далматинцев, только крупнее. Я пошла их погладить, каменные спины были гладкими, прохладными и чудесными на ощупь. За собаками дорожка вилась змеей и упиралась в заднее крыльцо большого дома. У каждого изгиба тропинки был куст, подстриженный в форме то слона, то жирафа или кролика. Мне страшно хотелось, чтобы этот дом был моим. Чтобы открыть дверь, войти внутрь, а там ждет моя семья, вся моя семья.

Позже я узнала кое-что о хозяевах дома. У них имелся завод, выпускавший телевизоры, и они были очень богаты. Статуи псов были сделаны

по фотографиям их собственных собак и стояли на месте, где тех похоронили. Четвертого июля эти люди устраивали вечеринку с лобстерами, которых самолетом доставляли из штата Мэн, вечеринку, которую непременно посещали мэр, начальник полиции и ректор. У них не было своих детей, но они приветливо относились к заблудшим ребятишкам, забредавшим на их землю. Они говорили с характерным акцентом жителей Индианы.

Лоуэлл растянулся на склоне, закинув руки за голову. Я улеглась рядом, и трава оказалась не такой уж густой и мягкой, но пахла все равно, как густая и мягкая. Пахла летом. Я положила голову брату на живот и вслушивалась в его незримую работу.

Я была счастлива тогда и счастлива сейчас, когда вспоминаю это, лежа на кровати. Как однажды ночью очутилась в сказочной стране с моим братом, и самое прекрасное, что ему в общем-то незачем было звать меня, ему от меня ничего не было нужно. Он просто взял меня с собой, и все.

Я растянулась на траве подле него, положив голову ему на живот, и старалась не смыкать глаз, боясь, что, если усну, он уйдет домой без меня. Сказочная страна, конечно, хорошо, но я

не хотела оказаться в ней одна. Даже это было радостно вспомнить. Брат мог бросить меня той ночью, но не сделал этого.

Я мысленно дочертила систему координат, начатую в камере, систему того, что я потеряла и когда. Первое: велосипед; второе: мадам Дефарж; третье: дневники; четвертое: брат.

Пятое: Ферн. Где Ферн? Может, брат знает. Мне бы тоже стоило хотеть узнать, но я слишком боялась ответа. Если бы желания так легко сбывались, скоро я бы снова встретила моего брата, и он бы не рассказал о Ферн ничего такого, что меня бы расстроило.

Но я отлично знала, что и в сказочной стране, и в реальной жизни с исполнением желаний все куда как не просто.

5

Я снова набрала Харлоу и снова напоролась на автоответчик. Еще раз без малейшего раздражения, без драмы, само спокойствие и достоинство — где мадам Дефарж? Девочка-мартышка совершила очередной незапланированный выход и снова угодила в камеру. Когда она уже научится вести себя сдержанно и пристойно?

Шел дождь — здоровые ледяные капли, — и у

меня не было велика, потому я позвонила в “Грэдюэйт” узнать, не оставил ли кто в баре куклу чревовещателя по имени мадам Дефарж пару ночей тому назад. Не уверена, что человек, взявший трубку, понял мой вопрос. Не уверена, что так уж постарался вникнуть. Стало ясно, что мне придется-таки отправиться и посмотреть самой, невзирая на погоду.

Следующие несколько часов я блуждала по городу в поисках разнообразных вещей, которые не могла найти. Я промокла до нитки, промерзла до костей, глаза снова защипало, потому что я всадила в них новые контактные линзы. Живой, дышащий океан жалости к себе. Разумеется, кто-то стащил мадам Дефарж. Мне никогда не осилить выкупа. Мне никогда не вернуть ее обратно.

Дэвис был печально знаменит кражами велосипедов. Их тырили легко, между делом; могли стянуть, просто чтобы доехать до следующей лекции. Полицейские собирали брошенные велосипеды и раз в году продавали на аукционе, деньги переводились в местный женский приют. Я еще увижу свой велик, но не смогу перебить ставку и даже пожаловаться не смогу, ведь деньги идут на благое дело. Неужто я не хочу, чтобы у

женщин был приют? Но я любила тот велик.

Весьма вероятно, столь свойское обхождение со мной полицейского Хэддика могло напугать брата. Он должен знать, что я никогда умышленно его не сдам. Но сколько раз Лоуэлл повторял: “Ты просто не умеешь держать свой чертов язык за зубами!” Когда мне было пять, шесть, восемь, десять — сотню тысяч раз? Я *научилась-таки* держать язык за зубами, но Лоуэлл так и не заметил.

Я вернулась домой с пустыми руками, в слезах и насквозь продрогшая.

— Моим ногам уже никогда не согреться, — сообщила я Тодду и Кимми. — Пальцам конец.

Они сидели за кухонным столом и увлеченно резались в карты. Большая часть колоды валялась на полу.

Они прервались, чтобы сочувственно поцокать языком, и тут же переключились на скорбный перечень всех, кто заходил, пока меня не было.

Сначала Эзра под каким-то нелепым предлогом, но, несомненно, надеясь застать Харлоу. И в результате обнаружил разбитый датчик дыма. Устроил выволочку. Мы с Тоддом не только подвергаем риску собственные жизни, но и жизни каждого обитателя этого дома. А кто отвечает за безопасность этих людей? На кого они рассчи-

тывают? Уж точно не на нас с Тоддом. Нет, они доверились ему, Эзре. Нам-то, может, и плевать, подведет их Эзра или нет, но он этого не допустит, даже не сомневайтесь.

Потом какой-то лузер, какой-то белый *бака* в бейсболке задом наперед, в надежде застать Харлоу. Он отдал Тодду странную куклу, сказав, что Харлоу просила ее вернуть.

— Страшная, на палке, — добавил Тодд, вероятно, про куклу. И потом про Харлоу. — Тут никак теперь ее офис? Контора? Потому как потом и Сама пожаловала. Ходит, берет без спросу пиво, относит куклу к тебе в спальню, велит передать, что та снова в чемодане, как и было обещано.

— И “все в порядке”, — вставила Кимми, — как и было обещано.

А потом опять стук в дверь! Тощий крашеный блондин лет, наверное, тридцати? Зовут Трэверс. Искал меня, но поскольку меня не было, они с Харлоу удалились вместе.

— Так весь и таял, — заметил Тодд. — Бедный дурачок.

Тодда явно больше всего задевало, что Харлоу едва притронулась к уворованному пиву. Даже разрешения не спросила, а теперь его только вылить, будто это какое-нибудь банальное “Бад

лайт”, а не особое пшеничное “Хефевайзен” из минипивоварни “Зюдверк”. Сам он допивать не станет, мало ли что там у Харлоу во рту. “Весь вечер тут просто-таки проходной двор для *киса-ма*” — заявил Тодд. Он снова вернулся к картам, шлепнув на стол трефового валета.

— Скотина ты, — высказала Кимми то ли Тодду, то ли бессовестному валету, хотя мне на секунду подумалось, это она мне.

Кимми была из тех, кого я напрягала по неведомым для них самих причинам. Она никогда не смотрела мне в лицо, хотя, может, она так со всеми себя вела, может, ее с детства приучили, что это невежливо. Тодд говорил, его бабушка по материнской линии никогда не смотрела людям в глаза и не открывала ступни ног, но при этом была неслыханно груба с продавцами и официантками. “Мы в Америке, — громко заявляла она, когда ему делалось совсем неловко. — Покупатель здесь — царь и бог”.

Кимми откашлялась.

— Они просили передать, что, если вернешься в течение часа, а ты едва успеваешь, приходи к ним в кафе с крепами. Они там ужинают.

Значит, надо всего лишь выйти на улицу, снова пройти несколько кварталов под ледяным

ливнем — и я увижу Лоуэлла. Внутри что-то всколыхнулось, помесь радости и тошноты, эдакий рвотный сироп счастья. Я увижу Лоуэлла.

С Харлоу.

Как же мы обо всем поговорим при ней?

Но так ли уж я хотела говорить *обо всем?*

Я сгорала от нетерпения. И все же не была до конца готова. Так что я отправилась в свою комнату, обмотала голову полотенцем и переоделась в сухое. А потом раскрыла небесно-голубой чемодан, где поверх сложенных вещей кверху задом раскинулась мадам Дефарж. Вынула ее. Она пахла сигаретами, на платье мокрое пятно. Она явно неплохо провела ночь. Но в целом без урона, волосок к волоску. Можно спокойно отсылать домой, когда авиакомпания наконец удосужится ее забрать, и все в полном порядке, как и было обещано.

И вдруг, не пойми с чего, мне стало больно при мысли о расставании с ней. Вся наша жизнь — сплошные встречи и проводы. “Я тебя едва знала, — сказала я. — И теперь ты покидаешь меня”. Она воззрилась на меня глазами из “зловещей долины”. Щелкнула змеиной пастью. Я обвила ее руками свою шею, как будто ей тоже было жаль прощаться. Спицы кололи мне ухо, и я подвину-

ла ее. “Пожалуйста, не уходи”, — сказала она. А может, я. Кто-то из нас точно.

Обратной стороной солипсизма можно назвать теорию модели психического. Она подразумевает, что, хотя непосредственно наблюдать этого нельзя, мы легко приписываем психические состояния другим (а также и себе, поскольку исходим из постулата, что понимаем собственные психические состояния в достаточной мере, чтобы делать обобщения). Таким образом, мы постоянно считываем чужие намерения, мысли, знания, незнания, сомнения, желания, соображения, догадки, обещания, предпочтения, цели и много-много чего еще для того, чтобы вести себя как социальные существа.

Детям до четырех лет сложно последовательно выстроить хаотично перемешанные картинки. Они могут описать их каждую в отдельности, но не способны увидеть намерения и цели персонажа. Это означает, что они не улавливают именно того, что связывает картинки. Они не улавливают истории.

У маленьких детей есть врожденные способности к формированию модели психического (так же, как и языка, о чем пишет Ноам Хомский); но они еще не развиты. Взрослые и дети постарше

без проблем выстраивают картинки в связный сюжет. Я и сама много раз проходила в детстве этот тест и не припомню, чтобы у меня не получалось, хотя, если Пиаже говорит, что один раз такое было, значит, было.

В 1978-м, когда Ферн еще мирно поживала себе в нашей семье, психологи Дэвид Примак и Гай Вудрафф опубликовали статью под названием “Есть ли у шимпанзе модель психического?”. В ней они опирались, главным образом, на серию экспериментов, которые проводились с участием четырнадцатилетней шимпанзе Сары для того, чтобы выяснить, способна ли она считывать человеческие намерения в заданных ситуациях. Они пришли к заключению, что в известной степени — да, способна.

Дальнейшие исследования (и этим как раз занимался мой отец) поставили их результаты под сомнение. Не исключено, что шимпанзе лишь предугадывали поведение, основываясь на предыдущем опыте, а вовсе не распознавали чужое желание или намерение. Следующие годы экспериментов были в основном направлены на усовершенствование методов внедрения в сознание шимпанзе.

В 2008-м Джозеф Колл и Майкл Томаселло

по-новому взглянули на весь спектр подходов к вопросу, а заодно и на результаты. И согласились с выводами тридцатилетней давности Примака и Вудраффа. Есть ли у шимпанзе модель психического? Они ответили безусловным “да”. Шимпанзе действительно видят, что психические состояния, такие как цель и знание, объединяются для совершения сознательного поступка. Они даже понимают концепт обмана.

Чего шимпанзе, похоже, не в состоянии понять, так это ложного убеждения. В их модели психического нет того, что отвечает за поступки, вызванные убеждениями, которые противоречат реальности.

Ну в самом деле, и как без этого выжить в мире людей?

Примерно в возрасте шести-семи лет у детей развивается модель, которая осваивает многоуровневые психические состояния. Они уже давно овладели материалом первого порядка — скажем, “мамочка думает, я уже в кровати”. Теперь они учатся оперировать (и с выгодой пользоваться) дополнительным уровнем — “папочка не знает, что мамочка думает, что я уже в кровати”.

Социальное взаимодействие у взрослых тре-

бует высокой степени осознания нескольких уровней психических состояний. Многим взрослым это дается легко и без усилий. Согласно Примаку и Вудраффу среднестатистический взрослый способен воспринимать четыре уровня цепочки — некто считает, что кто-то знает, что кто-то другой думает, что кто-то другой несчастлив, — сверх этого уже наступает дискомфорт. Примак и Вудрафф описывают такое четырехуровневое устройство как “не впечатляющее”. Одаренные взрослые способны углубляться на семь уровней, и на этом, похоже, человеческие возможности исчерпываются.

Дорога в бистро-креперию на ужин с Харлоу и моим братом была серьезным упражнением по части модели психического. Рассказал ли Лоуэлл Харлоу, сколько мы не виделись? Прилично ли выказать радость и до какой степени? Я верила в его благоразумие и осторожность, но сомневалась, что эта вера взаимна. У обоих имелись секреты, которые каждый из нас мог не счесть секретом. Так что мне предстояло угадать, что Лоуэлл уже рассказал Харлоу о нашей семье, а ему — что уже рассказала я, и обоим надо было сообразить, чего каждый не желал выдать, и все это очень быстро и прямо под носом у Харлоу, но

так, чтобы она ничего не поняла.

Вопрос-тест: сколько уровней цепочки вы видите в следующем предложении? Розмари опасается, что Лоуэлл может не смекнуть, что Розмари очень не хочет, чтобы он рассказал Харлоу про Ферн, потому что Розмари считает, что, стоит Харлоу услышать про Ферн, она расскажет об этом всем вокруг, и тогда все вокруг увидят в Розмари девочку-обезьянку, кем она, собственно, и является.

Мне лишь хотелось остаться наедине с братом. Я надеялась, что у Харлоу все достаточно хорошо с моделью психического, чтобы это понять. Готова была ей в этом подсобить, если понадобится. И ждала того же от Лоуэлла.

6

К тому моменту, как я добралась до ресторана, я столько уже отшагала в тот вечер, что ноги гудели до самых коленок. И так промерзла, что в ушах звенело. Было хорошо оказаться наконец в маленькой комнате с горящими свечами и окнами, запотевшими от пара и дыхания.

Лоуэлл с Харлоу уютно устроились за фондю в уголке.

Лоуэлл сидел спиной к двери, так что первой я

заприметила Харлоу. Она раскраснелась, темные распущенные волосы кольцами завивались у шеи. На ней был свитер с вырезом-лодочкой, который она спустила с одного плеча, обнажив лямку от лифчика (телесного цвета). Я смотрела, как она отломила кусочек хлеба и, ослепительно улыбаясь, кинула им в Лоуэлла. В один миг мне снова было четыре, и я стояла на земле, а Лоуэлл с Ферн, хохоча, взбирались на дерево.

— Ты никогда не выбираешь меня! — кричу я Лоуэллу. — Никогда до меня очередь не доходит!

Я не поняла, что Харлоу меня заметила, но она наклонилась вперед, что-то сказала, и Лоуэлл обернулся. Ночью пятницы в баре я узнала его в ту же секунду, но сегодня он выглядел старше, более усталым и меньше походил сам на себя. Превратился в настоящего взрослого, и это произошло без меня. Несмотря на крашеные волосы, он был похож на отца и с такой же, как у него, однодневной щетиной.

— А вот и она! — сказал Лоуэлл. — Эй, сморчок, давай к нам!

Встал и коротко обнял меня, сбросил рюкзак с пальто со свободного стула на пол. Все очень буднично, будто наши встречи — обычное дело. Намек понят.

Я пыталась отделаться от ощущения, что помешала чему-то, что *я* была непрошеным гостем.

— Кухня уже закрывалась, — сообщила Харлоу, — поэтому Трэверс заказал тебе ужин.

Они явно уговорили несколько бокалов местного отменного крепкого сидра. Харлоу пребывала в отличном настроении.

— Но мы едва не сдались и не съели его сами. Ты вовремя появилась.

Лоуэлл взял мне салат и лимонный креп. Почти угадал. В глазах защипало. Прошло столько лет, а брат по-прежнему знал, что заказать мне на ужин. Только в одном ошибся — в салате был болгарский перец. Я всегда выуживала болгарский перец из соуса к спагетти, который готовила мама. Болгарский перец любила Ферн.

— Эй! — Лоуэлл откинулся на спинку стула и раскачивался на задних ножках.

Я боялась, если посмотрю ему в лицо, уже не смогу отвести взгляда, так что и не стала. Я смотрела в его тарелку, закапанную расплавленным сыром. На его грудь. На нем была черная фуфайка с длинным рукавом, с изображением разноцветного пейзажа и подписью “Каньон Ваймеа”. Смотрела на его руки. Это были грубые мужские руки, правую прорезал большой шрам, от самых

костяшек до запястья, и исчезал за манжетой. Я часто моргала; все это беспрестанно расплывалось перед глазами.

— Харлоу говорит, она даже не знала, что у тебя есть брат. Это что вообще?

Я сделала глубокий вдох, пытаясь собраться.

— Приберегаю тебя для особого случая. Мой лучший и *единственный,* больше ни сестер, ни братьев. Такими не разменяются.

Мне хотелось поддержать беззаботный тон Лоуэлла, но, похоже, не получилось, потому что в следующую секунду Харлоу громко отметила, что я так трясусь, аж зубы стучат.

— На улице жуткий холод, — отрезала я раздраженнее, чем хотелось бы, — а мне пришлось хорошенько побегать по городу под дождем в поисках мадам Дефарж. — Я чувствовала на себе взгляд Лоуэлла. — Долгая история, — бросила я ему.

Но Харлоу перебила.

— Ты бы меня спросила! Я знаю, где она! — И уже Лоуэллу. — Мы с Розмари ушли в пятничный загул с ночным кукольным шоу.

Мы обе теперь обращались исключительно к Лоуэллу.

— Харлоу про свою семью тоже не рассказы-

вала, — буркнула я. — Мы вообще не то чтобы давно знакомы.

— Недавняя дружба, — подтвердила Харлоу. — Но очень крепкая. Как говорится, человека толком и не узнаешь, пока вместе не отсидишь.

Лоуэлл с нежностью улыбнулся мне.

— Отсидишь? Наша маленькая мисс Совершенство?

Харлоу взяла его за запястья, и он тут же снова повернулся к ней.

— У нее задержаний уже, — Харлоу раздвинула его руки сантиметров на тридцать, — вот столько.

Они неотрывно смотрели друг другу в глаза. Сердце стукнуло трижды — тук, тук, тук. Она отпустила его и улыбнулась мне.

Я решила, улыбка была вопросом — это ничего? — только неясно, про что конкретно. Ничего, что рассказала ему о нашем аресте, или ничего, что беру его за руку и заглядываю в глаза? Я попробовала взглядом ответить “нет”, категорическим “нет” и на то, и на другое, но она либо не поняла, либо и не спрашивала вовсе. Или уже попросту на меня не смотрела.

Она продолжила докладывать о нашем первом визите в кутузку. В тюрягу. В каталажку.

Но умудрилась изложить это, не упомянув Реджа, так что я присоединилась к разговору и ввернула его в рассказ. Хорошего Реджа, не плохого.

— Ее бойфренд, — вставила я, — сразу приехал и внес за нее залог.

Она весьма умело с этим управилась, и Редж моментально превратился в не просто плохого, а устрашающе плохого, а я, что ж, я стала неслыханно великодушной, даже пустила к себе домой едва знакомого человека.

— Потрясающая у тебя сестра. Я сказала себе, вот с кем хотелось бы подружиться. Вот на кого можно положиться в этом мире.

Дальше было рассказано о пропавшем чемодане, о появлении мадам Дефарж и о наших ночных похождениях. Харлоу солировала, но и меня попутно пыталась привлечь.

— Расскажи ему про автомойку, — говорила она.

И я излагала, покуда Харлоу изображала, как мы пробираемся в кромешной темноте через мыльные щупальца и планируем наши свадьбы.

Она даже про Тарзана вспомнила и про мои теории относительности, только теперь выходило, что она всю дорогу была со мной согласна.

Когда Харлоу упомянула Тарзана, Лоуэлл положил руку со шрамом мне на рукав и не убирал ее. Я как раз думала снять пальто, но теперь не стала. Ощущение тяжести на моей руке было единственным знаком его внимания; я не собиралась его упускать.

Будем справедливы — все, что рассказывала Харлоу, каждая мелочь в каждой истории, работало на меня. Это у меня было полно крутых, хоть и шизанутых идей. Это на меня можно было рассчитывать в трудную минуту. Это я могла постоять за себя и за друзей. Я — огонь! Я — бомба!

Я просто вот ни капли ничего из всего этого.

Верю, что Харлоу хотела как лучше. Верю, что она верила, что я хотела, чтобы она предъявила моему брату вагон прекрасных качеств, которыми я на самом деле не обладала. Она ведь не могла знать, ничего не могла поделать с тем, как выглядела, когда свет от свечей играл на ее лице и волосах всеми цветами, с этим сиянием, отраженным в ее глазах. С ней мой брат смеялся.

Феромоны — древнейший язык на этой земле. Может, мы не так легко их считываем, как муравьи, но их голос слышен. Я думала, мы при первой же возможности отделаемся от Харлоу. Но потек крепкий сидр, истории закручивались,

пока не проглотили собственные хвосты, как на гравюрах Эшера. Я зря надеялась.

В конце концов мы втроем оказались у меня дома, и мадам Дефарж, вновь извлеченная на свет божий, сексапильно резвилась. Она касалась щеки Лоуэлла. Говорила, что он *tres*[15] крут и, парадоксальным образом, *tres* душка. С ним улетаешь на седьмое небо.

Лоуэлл, скользнув по юбке мадам Дефарж, добрался до Харлоу. Взяв ее руку, поглаживал ее ладонь большим пальцем. Притянул к себе.

— Не играйте со мной, мадам, — произнес он так тихо, что я едва уловила.

Мадам Дефарж вдруг заговорила с мемфисским акцентом.

— Пока нет, сладкий мой, — ответила она едва слышно. — Но все впереди.

— К разговору о марионетках, — бросил мне Тодд, презрительно кивнув на Лоуэлла. Он еще не смекнул, что Лоуэлл — мой брат. А когда узнал, так распереживался, что уступил мне свою кровать и отправился ночевать к Кимми. Даже разрешил поиграть в его “Нинтендо-64”, потому что, предложи кто ему такое, *ему* бы сильно

---

[15] Примечания: 15
Очень *(фр)*

полегчало.

Извинившись, я отлучилась в ванную снять линзы с моих уязвленных глаз. Челюсть ныла от натужных улыбок. Где-то между салатом и крепом я перестала хотеть быть подругой Харлоу и уже мечтала о том, чтобы мы никогда не повстречались. Было стыдно — моей ревности, раздражения, — а ведь она столько приятного обо мне наговорила. Хотя я почти не сомневалась, что и близко ей так не нравилась, как она утверждала.

Главное, она же не знала, сколько мы не виделись с Лоуэллом.

Но он-то знал. Я даже больше на него злилась. Бросил меня одну с родителями и их печальным безмолвным домом, когда мне было всего одиннадцать. А теперь, встретив впервые после десятилетней разлуки, едва посмотрел в мою сторону. И силы воли у него не больше, чем у бонобо.

Комната Тодда пропахла пиццей, может, потому что на столе лежала коробка с двумя засохшими кусками. Их края загибались, как язычки у старых ботинок. Там же стояла лавовая лампа, эдакое ретро, она расплывалась, и булькала, и отбрасывала неяркий красноватый свет. И

горы комиксов, на случай, если меня настигнет бессонница, но об этом можно как раз не волноваться. Дважды звонил Редж и будил меня, и дважды приходилось врать, что я не в курсе, где Харлоу. Думаю, Харлоу слышала телефон и знала, что это Редж, знала, что мне приходится врать.

Вот теперь уж можно было злиться на нее без зазрения совести.

Я понимала, что Редж понимал, что я вру, и что он понимал, что я понимала, что он понимал. Может, наука и утверждает, что лучшие из нас способны осилить только семь уровней владения моделью психического, но я утверждаю, что могу продолжать так до бесконечности.

А потом, прямо как в старые добрые времена, Лоуэлл пришел за мной ночью. Он был в пальто и с рюкзаком. Молча разбудил, знаком велел вставать и ждал в гостиной, пока я натягивала все ту же сырую одежду, потому что мои вещи были в комнате, где Харлоу. Мы вышли на лестницу, Лоуэлл положил руки мне на плечи, и я уловила запах мокрой шерсти от его воротника.

— Как насчет пирога?

Я подумывала отпихнуть его, наговорить каких-нибудь гадостей, но слишком боялась, что он

вот-вот уедет. И ограничилась коротким, мрачным, но не категоричным “ну да”.

Он явно хорошо ориентировался в Дэвисе, знал, где можно съесть пирога в такой час. На улицах было ни души, дождь наконец перестал. Мы шли от фонаря к фонарю, впереди все время клубился радужный туман, но войти в него не получалось. Наши шаги эхом отдавались от пустынных тротуаров.

— Как мама с папой? — спросил Лоуэлл.

— Переехали. В маленький домик на Норт-Уолнат. Так странно они его обставили — как дом-образец или что-то вроде. Ни одной из наших старых вещей.

И вот уже против воли, но, конечно, только временно, я оттаяла. Так хорошо было поделиться тревогами и досадой на родителей с тем, кто тоже был повинен в их загубленной жизни. И даже больше меня, если уж начистоту. Вот об этом я и мечтала всякий раз, как представляла нашу встречу, вот об этом самом моменте, когда наконец уже не буду единственным ребенком.

— Как у отца с выпивкой?

— Волне терпимо. С другой стороны, я же не там, откуда мне знать? Мама сейчас работает в Центре планирования семьи. Мне кажется, ей

нравится. Играет в теннис, в бридж.

— Разумеется, — сказал Лоуэлл.

— В доме нет пианино.

Я замолкла, чтобы Лоуэлл как следует вник в эту печальную новость. Я не сказала “она бросила играть на пианино после того, как ты ушел из дома”.

Проехала машина, взметнув сноп брызг. На нагретом фонаре, будто на яйце, восседала, нахохлившись, ворона и бранилась на нас. Может, на японском: “Ба! Ка! Ба! Ка!” Нас явно обзывали, непонятно только, на каком языке. А вот это я Лоуэллу сказала.

— Вороны очень умные. Если они говорят, что мы идиоты, значит, так оно и есть, — ответил он.

— Или она про тебя, — заметила я самым нейтральным тоном, как говорят, чтобы потом, если что, обратить все в шутку. Я, может, и оттаяла, но не простила.

— Ба! Ка! Ба! Ка!

Я бы в жизни не отличила эту ворону от любой другой, но Лоуэлл поведал, что вороны отлично запоминают и узнают людей. Для такого туловища у них на удивление большой мозг, похожее соотношение и у шимпанзе.

При слове *шимпанзе* у меня екнуло сердце, но

Лоуэлл умолк. Мы миновали дом на Би-стрит, где все деревья были в воздушных шариках. На входной двери под лампой висел плакат “С днем рождения, Маргарет!”. Нам с Ферн всегда дарили воздушные шары на день рождения, только за Ферн надо было приглядывать, чтобы она не куснула его, не проглотила и не задохнулась резиной.

Мы прошли Центральный парк. Даже в темноте было видно, что трава утонула в зимней слякоти; земля была маслянисто-черной. Я как-то соорудила для нас с Ферн грязеступы из одноразовых тарелок и шнурков. Ферн свои надеть отказалась, но я все же попробовала, решив, что буду ходить в них по грязи, как в снегоступах по снегу. На ошибках учатся не хуже, чем на удача, всегда повторял папа.

Только никто тебя за это на руках не носит.

— Я пытался одолеть последнюю папину статью, — наконец заговорил Лоуэлл. — “Кривая обучаемости в стохастической теории обучения”. Едва продирался от абзаца к абзацу. Как будто впервые все эти слова видел. Может, поступи я в колледж…

— Не помогло бы.

Я в двух словах рассказала ему о Дне благодаре-

ния и как папа довел бабушку Донну со своими цепями Маркова. Заодно припомнила оценки Питера и теорию заговора дяди Боба, и уже было рассказала, что мама отдала мне свои дневники, но осеклась — а вдруг попросит посмотреть? Не хотелось признаваться даже ему, что я их потеряла.

Мы зашли в “Бэйкерз сквер”, заведение с клетчатыми занавесками, пластиковыми подставками под тарелки и ненавязчивой музычкой. Вполне недурно для нас, очень олдскульно, как будто вернулись на десять, если не больше, лет назад, в наше детство, разве что слишком ярко освещенное. Саундтрек был даже постарше — “Бич бойз” и “Супримз”. *“Be True to Your School”. “Ain’t No Mountain High Enough”*[16]. Музыка наших родителей.

Мы были единственными посетителями. Сразу подошел официант, похожий на юного Альберта Эйнштейна, и мы заказали два банановых пирога. Он принес их, весело бросил, показывая на окно, за которым опять полил дождь: — “Конец засухе! Конец засухе!” — и удалился.

Брат лицом все больше и больше походил на

---

[16] Примечания: 16

“Будь верен своей школе”, “Нет горы такой вышины” *(англ.).*

отца. У обоих был голодный взгляд, который Шекспир находил таким опасным. Впалые щеки, подбородок, заросший темной щетиной. Еще накануне, в бистро, Лоуэллу не помешало бы побриться. Настоящий вервульф, с этой темной бородой, так странно, но эффектно контрастирующей с обесцвеченными волосами. Мне подумалось, он выглядит изможденным, но не как люди, которые не спали всю ночь, занимаясь сексом. А просто как выглядят люди, когда они изможднены.

Теперь он уже не казался сильно старше меня. Он заметил, что я гляжу на него.

— Нет, ну надо же! Студентка, колледж, вдали от дома. Тебе нравится? Все неплохо?

— Не жалуюсь.

— Да ладно, — Лоуэлл отправил в рот кусок пирога и улыбнулся. — Не скромничай. Бьюсь об заклад, ты бы жаловалась дни напролет.

7

Мы с Лоуэллом просидели в “Бэйкерз сквер” всю ночь. Дождь шел, переставал и шел снова. Я съела яичницу, Лоуэлл — оладьи, мы оба пили кофе. Стал прибывать утренний народ. Наш официант отправился домой, его сменили трое

новых. Лоуэлл сказал, что теперь он вегетарианец и даже умудряется быть веганом, если не в дороге, да только вот он почти всегда в дороге.

В ветеринарной школе Дэвиса имелась корова с наложенной фистулой, со специально проделанной дырой в желудок, через которую можно было наблюдать за процессом пищеварения. На нее приезжали посмотреть группы школьников, беспроигрышный аттракцион в День пикника. Можно просунуть руку и потрогать внутренности. Что и проделали уже сотни людей. И эта корова, по словам Лоуэлла, жила просто-таки припеваючи по сравнению с обычной дойной коровой.

Но он был уверен, что она далеко не единственная корова с фистулой в Дэвисе. Остальных тоже звали Мэгги, чтобы люди думали, будто она одна такая, и не начали задавать вопросов о злоупотреблении фистуляцией.

Лоуэлл сказал, он всегда считал, что непременно поступит в университет, и ему по-настоящему жаль, что не сложилось. Но он очень много читает. Советует книгу Дональда Гриффина “Разум животных”. Может, я смогу ее и папе подсунуть.

Лоуэлл хоть и не понял папиной последней статьи, но критических замечаний по поводу

отцовской работы у него накопилось немало. На его взгляд, психологические исследования животных по большей части крайне громоздкие, заумные и откровенно странные. Они мало чего сообщают собственно о животных, зато многое говорят об исследователях. Взять хоть Гарри Харлоу, которого мы видели детьми и который угощал нас леденцами.

Я помнила доктора Харлоу. Он пришел к нам домой на ужин и сел между мной и Ферн. Потом читал нам главу из “Винни-Пуха”, и за Крошку Ру говорил высоким голосом с придыханием, и мы смеялись всякий раз, как появлялся Крошка Ру. Леденцов я не помнила, но могу поспорить, что это отлично помнила Ферн. У меня мелькнула мысль, что, если бы папа всерьез восхищался Гарри Харлоу, меня могли назвать в его честь. И теперь я была бы Харлоу, как и сама Харлоу. Вот была бы дичь!

Но никто не назовет ребенка в честь Гарри Харлоу. Он отнимал детенышей макак-резусов у матерей и подсовывал им неживых матерей, сделанных из махровой ткани или из проволоки; и наблюдал, кого предпочтут малыши, когда нет другого выбора. Он заявлял, умышленно провоцируя, что изучает любовь.

Детеныши обезьян жалобно льнули к этим бездушным обманкам и либо страдали психотическими расстройствами, либо умирали.

— Не знаю, что он там, по его мнению, узнавал о них, — сказал Лоуэлл. — Но в своей маленькой печальной жизни они, несомненно, чертову кучу всего узнавали о нем.

— Нам нужно что-то вроде обратного зеркального теста. Какой-то способ распознавать особей, которые достаточно умны, чтобы, глядя на себя, видеть других. Призовые очки тем, кто максимально далеко выбьется из своей цепочки. Двойные очки тем, кто пройдет весь путь до насекомых.

Наша новая официантка, латиноамериканка с короткой густой челкой, крутилась около столика, вклиниваясь, чтобы расставить сиропы, забрать кофейные чашки, положить чек позаметнее. В конце концов она сдалась и удалилась в поисках более податливых клиентов.

Лоуэлл прервался, пока она нависала над нами, а когда ушла, сразу подхватил с того же места.

— Смотри-ка, болтаю без умолку! — в какой-то момент заметил он. — Я сегодня больше в твоем духе, чем ты сама. Обычно-то я столько не говорю. У меня тихая жизнь.

Он улыбнулся. Его лицо за эти годы изменилось, но улыбка осталась прежней.

— Вот в чем проблема с отцовским подходом, — Лоуэлл постучал пальцем по подложке под тарелку, словно проблема крылась где-то возле картинки с “Супер скрэмблом”. — В изначальном тезисе. Папа всегда утверждал, что все мы — животные, но когда дело касалось Ферн, явно отклонялся от исходного посыла. Получалось, что все бремя доказательства верности его теории ложилось на нее. Это Ферн была виновата в том, что не умеет разговаривать с нами, а не мы в том, что не способны ее понять. Строго говоря, научнее было бы начать с допущения сходства. Куда более в дарвиновском духе.

— И намного менее грубо, — добавил Лоуэлл.

Он спросил меня: помню ли я игру с красными и синими покерными фишками, в которую играли мы с Ферн? “Похоже — не похоже”?

Разумеется, я помнила.

— Она всегда давала тебе красную фишку. Никому больше. Только тебе. Помнишь?

Я вспомнила, когда он это сказал. Это всплыло в моей голове новехоньким воспоминанием, более ясным и четким, чем старые, истертые, словно древнеримские монеты. Я лежу на исцарапанном

дощатом полу у папиного кресла, и Ферн заходит и укладывается рядом. Я тогда как раз разбила локоть. Папа с аспирантами продолжают обсуждать неожиданную реакцию Ферн — смех. Она все еще держит покерные фишки — красную для “похоже” и синюю для “не похоже”. Она перекатилась на спину, и мне виден каждый волосок на ее подбородке. От нее пахло потом. Она почесала одной рукой мою голову, выпал волос, она его съела.

Потом, как будто хорошенько все взвесив, она протягивает мне красную фишку. Снова в моей голове Ферн глядит на меня своими яркими глубоко посаженными глазами и опускает красную фишку мне на грудь.

Знаю, что это означало по мнению отца. Ничего полезного. Когда-то она всякий раз, съедая изюмину, давала одну и мне, а теперь у нее две фишки, и она отдает мне одну. Две любопытные схемы поведения — папы хватало только на такое.

А вот что это означало по моему мнению. Я думаю, Ферн извинялась. Когда тебе плохо, мне тоже плохо — вот что мне говорили красной фишкой. Мы похожи, ты и я.

Моя сестра Ферн. Моя единственная красная фишка на всем белом свете.

Руки под столом взяли и сами по себе крепко сцепились, когда я выдавила из себя вопрос, который должна была задать, как только мы остались наедине.

— Как Ферн?

Вышло шепотом, и, еще не договорив, я уже пожалела, что не смолчала. Я так боялась услышать ответ, что тут же добавила.

— Начни с самого начала, — попросила я, чтобы максимально отдалить плохую новость. — Начни с ночи, когда ты ушел.

Но вы наверняка предпочли бы сразу перейти к Ферн. Тогда я коротко.

Я была права, предположив, что Лоуэлл двинул от нас прямиком в лабораторию доктора Алжевика. Он знал, что в его распоряжении всего пара дней до того, как мы начнем его искать, и их хватило, чтобы добраться. В Южной Дакоте был жуткий холод, кругом мерзлая земля без снега, черные деревья без листьев и сухой колючий ветер.

Он приехал, когда уже стемнело, остановился в мотеле, потому что не знал, где находится лаборатория, и искать было поздновато. К тому же засыпал на ходу после двух ночей в автобусе. У женщины на ресепшене была прическа а-ля

пятидесятые и погасший взгляд. Он боялся, она спросит про возраст, но она даже к деньгам не выказала особого интереса.

На следующий день он отыскал в университете кабинет Алжевика и представился секретарше факультета абитуриентом. Она, по словам Лоуэлла, была такой типичной теткой со Среднего Запада. Очень милая. Лицо как лопата, плоское и открытое. Доброе сердце нараспашку. Он просто рожден разочаровывать таких женщин. “Как миссис Баярд, ты ж понимаешь, о чем я?”

Миссис Баярд умерла лет пять назад, так что больше он ее уже не разочарует. Я об этом умолчала.

Лоуэлл поведал секретарше факультета, что очень интересуется изучением шимпанзе. Можно ли как-то ознакомиться с тем, как здесь обстоят дела в этой области? Она сообщила ему приемные часы Алжевика, которые он и так знал. Они были указаны на двери кабинета.

Но потом она ненадолго отлучилась по какому-то вопросу, и он смог беспрепятственно залезть в ящик с рабочей почтой Алжевика. Там, среди прочего, обнаружился счет за электричество, довольно большой, адрес был загородный. Лоуэлл купил карту и хот-дог на заправке. До дома было

шесть миль. Он прошел их пешком.

На дороге почти не было машин. День солнечный, но жутко холодный. От движения становилось легче. Он размахивал руками для согрева и гадал, как прошла игра с Марион. Даже будь он там, она закончилась бы неважно. В лучшем случае избежали бы откровенного позора. Без него? Что позорнее позора? Он раздумывал, что, может, не стоит возвращаться в старшие классы, а надо сдать экзамены и сразу махнуть в колледж, где никто бы знать не знал, что он когда-то играл в баскетбол. Да и ростом для команды колледжа не годился.

Наконец он добрался до территории, огороженной сеткой-рабицей. Обычно рабица для подростка Лоуэлла не была проблемой; курам на смех эти сетки-рабицы. Но здешнюю недвусмысленно оплетал провод под напряжением. Что означало, он на верном пути, только вход ему заказан.

Во дворе за оградой густая поросль голых деревьев, голая каменистая земля с пожухшими сорняками. На ветке качели из шины и сетка для лазания, как в армии на учебной полосе препятствий. Из людей вроде никого. Через дорогу Лоуэлл обнаружил обрубок дерева, за которым

можно было укрыться от ветра и из виду. Он привалился к стволу и тут же уснул.

Хлопнула дверца машины, он проснулся. Ворота к подъездной дорожке были распахнуты. Мужчина выгружал из зеленого микроавтобуса здоровые мешки собачьего корма. Сложил их на тележку и покатил по ухабам к чему-то вроде гаража. Как только он скрылся за дверью, Лоуэлл перебежал через дорогу и проскользнул в главное здание.

— Взял и зашел. Вот так запросто.

Он очутился в темном коридоре. Лестницы оттуда вели и вверх, и вниз. Послышались крики шимпанзе. Они доносились снизу.

На лестнице стоял резкий запах, помесь аммиака с дерьмом. На стене выключатель, но Лоуэлл не стал зажигать свет. Солнце проникало через маленькие окошки, вырезанные прямо над землей. Этого хватало, чтобы разглядеть четыре поставленные в ряд клетки и по меньшей мере дюжину темных приземистых фигур внутри.

— А дальше, — произнес Лоуэлл, — все было ужасно. Знаю, ты не любишь говорить о Ферн. Ты точно хочешь дослушать?

Так он меня предупредил. Он вовсе не предлагал остановиться.

Я сразу узнал Ферн, рассказывал он, но не потому, что прямо-таки узнал в этом тусклом свете, просто она была самой молодой и маленькой.

Она сидела клетке с четырьмя здоровенными взрослыми. Раньше я и не подозревал, что шимпанзе так не похожи друг на друга. Шерсть у нее была порыжее, а ушки повыше, чем у других, как у плюшевого мишки. Так легко вычислить, так логично, хотя она изрядно изменилась. Стала крепкой и плотной, а была изящной. Но жутко то, как она меня узнала. Будто чувствовала, что я появлюсь. Помню, еще подумал, что папе надо бы поизучать вопрос предвидения у шимпанзе.

Я подходил к клеткам, и она еще даже не повернулась, но уже вся оцепенела. Шерсть встала дыбом, и она начала тихонько завывать, *у-у, у-у,* как всегда, когда волнуется. Потом резко развернулась и метнулась к прутьям клетки. Она трясла их, и раскачивалась взад-вперед, и уже смотрела прямо в глаза. Уже кричала на меня.

Я подбежал, и она просунула руку, ухватила меня и так рванула к себе, что я врезался в решетку. Ударился головой, и все немного поплыло. Рука была у Ферн в клетке, у нее во рту, но она еще меня не укусила. Думаю, не могла решить, рада мне или все же зла. Впервые в жизни я ее испугался.

Я попытался высвободить руку, но она не отпускала. От нее пахло лихорадочным возбуждением, чем-то вроде паленой шерсти. Давно она не купалась в ванне с пеной и не чистила зубы. По правде говоря, от нее воняло.

Я принялся увещевать, просил прощения, говорил, как люблю ее. Но она продолжала кричать и ничего не слышала. Она так стиснула мне пальцы, что искры из глаз посыпались, и я изо всех сил старался говорить тихо и спокойно.

Теперь уже и остальные шимпанзе здорово возбудились. Один крупный самец с эрекцией подошел и попытался отнять у нее мою руку, но она не сдалась. Тогда он схватил за вторую руку, и оба принялись тянуть, колошматя меня о прутья. Я разбил нос, лоб, щеку. Ферн все еще держала мою руку, но уже не во рту. Она развернулась и укусила самца в плечо. Прямо-таки впилась в него. Крики неслись теперь из всех клеток и эхом отдавались от бетонных стен. Все это походило на давку у сцены. Очень опасную давку.

Здоровяк выронил мою руку и попятился, широко распахнув пасть, обнажив клыки, и, клянусь, они были как зубья акулы. Он выпрямился, шерсть, как и у Ферн, дыбом. Он явно угрожал ей, но она не обращала внимания. Она подавала

мне знаки свободной рукой. Мое имя — пальцы сложены в букву Л и шлепок по груди, и потом — хорошая, хорошая Ферн. Ферн — хорошая девочка. Пожалуйста, забери меня скорее домой. Я буду хорошо себя вести. Обещаю хорошо себя вести.

Здоровый шимпанзе обрушился сзади, но Ферн не могла одновременно защищаться и держаться за меня. И не стала защищаться. Ногами он разодрал ей спину в кровавые клочья. И все это время она продолжала кричать, все шимпанзе кричали, и пахло кровью и яростью, и ужасом, кислым железом и мускусным потом, и испражнениями, и голова шла кругом от ударов. Но она не отпускала меня.

И тогда появились люди, двое мужчин, они бежали по лестнице, что-то крича, но я не слышал что. Для профессоров они были молоды, скорее аспиранты. Может, уборщики. Оба здоровяки. У одного в руке электрошокер, и я подумал: как это сработает? Как они умудрятся пустить разряд в Ферн, не вырубив меня? И как помешать им вырубить Ферн?

Оказалось, не было нужды применять электрошокер. Завидев его, самец шимпанзе тотчас с воем отскочил в дальний угол клетки. Все

притихли. Ферн показали электрошокер, и она наконец отпустила меня.

Я получил струей дерьма в лицо. Его пустили из другой клетки, и оно, тошнотворно воняя, стекло по шее за воротник. Мне было велено убираться, пока полицию не вызвали. Ферн пыталась протиснуться сквозь прутья, все показывая мое имя и свое. Хорошая Ферн, хорошая Ферн. Мужчины принялись спорить, дать ли ей разряд. Потом увидели кровь, и спорам был конец.

Один из них пошел за ветеринаром. И меня забрал с собой, таща за целую руку. Он был сильно крупнее меня.

— Я сейчас полицию вызову, — сказал он, тряхнув меня хорошенько. — Думаешь, это шуточки? Думаешь, очень крутой — вот так, потехи ради, издеваться над зверями в клетке? Вали отсюда к чертям и чтоб духу твоего здесь больше не было.

Второй оставался с Ферн. Он нависал над ней, держа электрошокер. Думаю, он защищал ее от других шимпанзе, но я знаю, она видела в нем угрозу. Ее жесты делались все путанее. Отчаяннее.

До сих пор не могу вспоминать об этом, сказал Лоуэлл. Как она после всего-всего защищала меня от того главного самца. И какой ценой. Ее лицо,

когда я бросил ее там одну.

Больше я ее не видел, сказал Лоуэлл.

Часть пятая

Конечно, в то время я еще не рассуждал по-человечески, но под влиянием среды поступал так, словно рассуждаю.

Франц Кафка
“Отчет для академии”

1

Между нами с Ферн было кое-что “Непохожее”, кое-что до того вопиющее, что Лоуэлл даже и не догадывался, пока не отправился в Южную Дакоту. Кое-что, о чем я не знала, пока он не сказал мне десять лет спустя, за завтраком в “Бэйкерз сквер”. “НеПохожесть” была вот в чем: как любой стул, или машину, или телевизор, Ферн можно было продать и купить. Все время, что она жила с нами на ферме и была частью семьи, все время, что старательно была нам сестрой и дочерью, она на самом деле была собственностью Университета Индианы.

Когда отец закрыл проект воспитания Ферн в семье, он надеялся продолжить работу с ней в каких-то не до конца понятных условиях при

лаборатории. Но содержание Ферн всегда было дорогим удовольствием, и университет заявил, что не располагает помещением, где можно спокойно ее поселить. Они стали искать решение. И продали в Южную Дакоту при условии, что ее заберут немедленно.

У отца не было права голоса. Не было и полномочий отправить Мэтта сопровождать ее, но он это сделал, и Мэтт, не имея официальной должности в Южной Дакоте, оставался там, сколько мог, и навещал Ферн, когда только позволяли. Они сделали все, что в их силах, сказал Лоуэлл, а уж он-то последний, кто готов в этой истории на малейшее снисхождение. Но мне тогда — да и сейчас, если честно — было трудно понять, как это возможно, что у родителей так мало власти в отношении собственной дочери.

— Своим приездом я сделал только хуже. Оказалось, папа был прав, что не навещал ее. — Глаза у Лоуэлла были красные от усталости, он сильно тер их, и они краснели еще пуще. — Но не в том, что мне станет легче.

— Ты знаешь, где она теперь? — спросила я, и Лоуэлл ответил, что она по-прежнему в Южной Дакоте, в лаборатории Алжевика. Он больше не навещает ее из-за эмоционального раздрая,

но теперь добавился еще один момент — там караулит ФБР.

Обратно ему дороги нет. Поэтому кое-кто присматривает за ней. И шлет ему отчеты.

Сам Алжевик пять лет назад ушел на покой, отличная новость для всех, кто сидит в тамошних клетках.

— Он и ученым-то не был, по сути, — сказал Лоуэлл. — Скорее настоящим суперзлодеем. Из тех ученых, кому место в тюрьме для невменяемых преступников.

К несчастью, заметил Лоуэлл, таких ученых пруд пруди, трудятся себе как ни в чем не бывало.

— Алжевик приучил шимпанзе целовать ему руку, когда он обходит клетки. Заставлял Ферн проделывать это по нескольку раз кряду. Парень, который там раньше работал, рассказывал, что Алжевик считал это забавным.

Он ненавидел Ферн, и никто не мог толком объяснить мне почему. Однажды я уговорил одного богатого парня дать денег, чтобы выкупить ее и заплатить приюту во Флориде (конечно, как и все приюты, он был забит под завязку) побольше денег, чтобы они закрыли глаза на листы ожидания и взяли Ферн. Алжевик отказался продавать.

Предложил парню другую шимпанзе, и тот решил, что лучше спасти хоть кого-то, чем никого, так что я оглянуться не успел, как он согласился. Но как выяснилось, это можно назвать подарком судьбы. Всегда рискованно вводить новую шимпанзе в уже сложившуюся стаю.

Перед глазами промелькнул первый день в детском саду, куда я, довольно своеобразной и не вполне социализированной, пришла на полчетверти позже.

— На шимпанзе, которую прислали вместо Ферн, набросились и забили чуть не до смерти, — закончил Лоуэлл.

Лоуэлл сказал:

— Я страшно напугался в 1989-м, когда Алжевик объявил, что надо закрыть дыру в бюджете и отправить несколько шимпанзе в медицинские лаборатории. Уму, Питера, Джои, Тату и Дао продали. Из всех сейчас жива только Ума.

Я был уверен, что Ферн попадет в список, но обошлось. Может, потому что она исправно давала потомство. Хотя жизнь с нами крепко пригасила ее сексуальность: ноль интереса. Они стали ее искусственно осеменять. По мне, так то же изнасилование, только без синяков.

Ферн родила троих детенышей. Первого,

мальчика, названного Бэзилом, сразу отобрала шимпанзе постарше. Я слыхал, такое случается даже в самых распрекрасных семьях. Но Ферн очень переживала.

А потом малыша отобрали еще раз. Алжевик продал его вместе с Сэйдж, вторым детенышем Ферн, в зоопарк Сент-Луиса, чего обычно распрекрасные семьи умудряются избежать. Только, похоже, не наша.

— Тебе стоит съездить поглядеть на них, — заметил Лоуэлл. — Не лучший вариант, но все же не медицинская лаборатория.

Мужчина за соседним столом обвинил свою собеседницу в том, что она сахарные сопли высасывает из пальца. Не скажу наверняка, что услышала это именно в тот момент, но запомнила навсегда. Крайне неприятный образ и ровно то, чего не делал Лоуэлл. Ровно то, чего он никогда не делал. И если Лоуэлл сказал, что после ухода Алжевика жизнь Ферн наладилась, я знала, что так оно и есть.

— Аспиранты обожают Ферн, — сказал он. — А бывало иначе?

Лоуэлл поведал, что у Ферн появился третий, последний детеныш, девочка по имени Хэйзел. Ей только исполнилось два, а Ферн уже учила ее

языку жестов. Было похоже, что Ферн позволят оставить ее, потому что под них был придуман эксперимент. Сотрудникам запретили использовать в присутствии Хэйзел какие-либо жесты, которые она бы до этого сама не повторила по меньшей мере четырнадцать раз при по меньшей мере четырех разных свидетелях.

Ферн сама знала более двухсот жестов, и в лаборатории заносили в список те, которым она обучала Хэйзел. Она передаст только функциональные или разговорные тоже?

— В лаборатории все носятся с Хэйзел, — рассказал Лоуэлл. — Она уже изобретает собственные жесты. *Платье дерева* для листьев. *Большой суп* для ванной. На редкость умненькая. Хитрюга-шахматистка.

— Вся в мать, — добавил Лоуэлл.

— Это у тебя от Ферн? — спросила я, показывая на шрам. Он ответил, нет, это привет от испуганного краснохвостого сарыча. Но подробностей я так и не узнала, потому что Лоуэлл еще не закончил с Ферн.

В Южной Дакоте после той выходки ему требовался врач. Вдобавок к разбитому о прутья лицу были сломаны два пальца и вывихнуто запястье. Местный врач приходил подлечить

его на частную квартиру, все это неофициально. Лоуэлл остался на ночь в той квартире, и кто-то незнакомый присматривал за ним и периодически будил убедиться, что нет сотрясения. Все это потому, что кто-то, возможно, видел Лоуэлла в лаборатории или же раньше утром в университете, или, может, то был кто-то из Блумингтона, впечатленный Великим освобождением крыс. Здесь Лоуэлл не стал распространяться. Но кто бы то ни был, он/она не одобряли обращения с животными в лабораториях и полагали, что и Лоуэлл не прочь что-то предпринять.

— Я уже понял, что не спасу Ферн в одиночку, — сказал Лоуэлл. — Я действовал глупо и наивно, как будто мы с Ферн могли просто взять и скрыться, прыгнуть в гиперпространство, как Хан и Чубакка.

Разумеется, я вообще не думал. Просто хотел ее увидеть, проведать, как она, показать, что ее не забыли. Сказать, что люблю ее.

Но теперь стало ясно, что нужен план. Нужно место, куда ее забрать, и люди, которые помогут. Ясно, что согласно закону я буду виновен в краже и что мне десять раз положить на закон. Мне рассказали о планировавшейся акции в Риверсайде, в Калифорнии, туда отправлялась машина, и

было свободное место. Я сказал, что поеду. Решил, что любые действия пойдут в копилку и потом пригодятся для спасения Ферн.

Лоуэлл отвернулся и уставился в большое окно на улицу, где уже замельтешил бегущий на работу народ. Опять лег густой туман. Дождь закончился, и взошло солнце, но такое бледное и тщедушное, что машины ехали с включенными фарами. Казалось, будто весь город затолкали в чулок.

В “Бэйкерз сквер” становилось все оживленнее, вилки звенели о тарелки, гул разговоров. Звяканье кассы. Колокольчик над дверью. Я плакала, сама не понимая, в какой момент это началось.

Лоуэлл взял меня за руки. Его были грубыми, пальцы теплее моих.

— На следующий день, как мне сообщили, искать меня в лабораторию заявилась полиция. Знаю, что им все рассказали о моем визите, так что мама с папой оказались в курсе, где я побывал и что я в общем и целом в порядке. Но я все еще был слишком зол, чтобы вернуться домой. Поездка в Риверсайд представлялась наилучшим шансом благополучно убраться из города. Я считал, что все хорошенько продумал. И делаю так, как лучше для Ферн. Но как же я был зол. На

всех вас. Все время перед глазами было ее лицо. Я не имел в виду больше не возвращаться домой. Просто собирался сначала позаботиться о Ферн, устроить где-нибудь, где ей будет хорошо. — Он легонько встряхнул мои руки. — На какой-нибудь ферме.

Тут случился один из тех странных моментов, когда все звуки в ресторане вдруг смолкли. Никто не разговаривал. Никто не мешал ложечкой в чашке. Никто на улице не лаял, не сигналил, не кашлял. Пауза. Стоп-кадр.

И продолжаем.

Лоуэлл понизил голос:

— Я был так глуп, — глухо произнес он. — Я мог поступить там в колледж. Попробовать найти работу в лаборатории. Видеть Ферн каждый день. Вместо этого я на крючке у ФБР, и нет дороги назад. Или в колледж. Или домой.

И тут из него словно выпустили весь воздух.

— Я так старался спасти ее. Долгие годы попыток, и что в них проку для Ферн? Никчемный брат из меня вышел.

Официантка давно потеряла надежду, но мы все же расплатились. Лоуэлл закинул на спину рюкзак, и мы двинулись сквозь туман по Второй улице.

На темной шерсти пальто Лоуэлла собирались капельки воды.

Я помню день, когда простудилась, и Лоуэлл заявил, что, раз уж я не могу выходить на улицу, он добудет мне снега. И принес снежинки на черных кожаных перчатках, наобещав затейливые шестигранные кристаллы, крохотные дворцы Снежной королевы. Когда я сунула их под микроскоп, они уже превратились в заурядные бусины воды.

Это было еще при Ферн, но в моем воспоминании ее нет, и это странно. Куда ни глянь, Ферн каждую божью секунду крутилась, вертелась и кувыркалась где-то рядом. Может, она работала с аспирантами. Может, была с нами, но я сознательно стерла ее. Может, теперь было слишком больно вспоминать это мохнатое веселое буйство.

— Проводи меня до вокзала, — сказал Лоуэлл.

Значит, уезжает. А ведь я даже не успела до конца отойти от возмутительной истории секса с Харлоу.

— Я думала, может, мы отправимся в поход, — протянула я, уже открыто канюча. — Или скатаем на денек в Сан-Франциско. Не думала, что ты так быстро уедешь.

У меня столько накопилось ему рассказать. Я надеялась, по моим тщательно выстроенным намекам он поймет, что меня нельзя снова бросить. Давим на чувство вины по полной. Просто я ждала, когда наконец и мне можно будет вставить слово.

Наверное, он догадался. Мало что укрывалось от Лоуэлла, по крайней мере в том, что касалось меня.

— Прости, Рози. Не могу я нигде разгуливать, а особенно — здесь.

С дюжину студентов толпились у входа в кафе “Мишка”, ожидая открытия. Мы прошли прямо через них, впереди Лоуэлл со своим рюкзаком, позади — я, опустив голову. “Мишка” был популярным заведением во время сессий, но надо было приходить пораньше, чтобы занять места в глубине. Передние столики отводились для обычных посетителей; это было Правило.

Перед кафе туман пах кофе и маффинами. Я подняла глаза и уперлась взглядом в Дорис Леви из нашего общежития. К счастью, она меня не узнала. Светской беседы я бы не сдюжила.

Лоуэлл не заговаривал, пока студенты не остались далеко позади.

— Полагаю, ФБР знает, что ты здесь, — сказал он

наконец. — Особенно учитывая блистательную историю твоих задержаний. Твой домовладелец меня видел. Твой сосед. Харлоу. Слишком рискованно. Да и все равно мне скоро надо кое-где быть.

Он планирует новую акцию, сообщил Лоуэлл, долгосрочную затею под таким глубоким прикрытием, что ему придется начисто исчезнуть. А это значит, он не сможет больше получать отчеты о Ферн.

Поэтому теперь они будут приходить мне. Неважно как, добавил Лоуэлл, пойму, когда получу. Он уже все устроил, осталось вот только сказать мне, что присматривать за Ферн теперь моя забота.

Для этого он и приезжал.

Мы добрались до вокзала. Лоуэлл пошел за билетом, а я села на ту самую скамейку, на которой пару ночей назад горько рыдала, вспоминая день, когда забрали Ферн. Что-то после лекции доктора Сосы я столько плакала то над одним, то над другим, удивительно, что у меня еще слезы остались. Но они текли и текли. Хорошо еще мы были на вокзале. В аэропортах и на вокзалах положено плакать. Я однажды только за этим в аэропорт поехала.

Мы вышли на платформу и двинулись вдоль перрона подальше от людей. Мне так хотелось, чтобы это я уезжала. С билетом в никуда. Что за Дэвис без вечной надежды, что вот-вот появится Лоуэлл? Зачем вообще в нем оставаться?

Я считала привычку Эзры актерствовать в собственной жизни нелепым пижонством; меня это забавляло. Теперь я поняла смысл. Если играть роль, можно установить дистанцию, притвориться, что только притворяешься, что чувствуешь то, что чувствуешь. Вся сцена была вполне кинематографична, даже несмотря на саундтрек из моих всхлипываний. Справа и слева пути исчезали в тумане. Раздавался гудок приближавшегося поезда. Это могли быть проводы брата на войну. В столичный город за большими деньгами. На золотые прииски разыскивать нашего отца.

Лоуэлл обнял меня. От моего лица на его пальто осталось влажное сопливое пятно. Заложенным носом я вдохнула поглубже, стараясь почуять его запах, чтобы запомнить. Он пах мокрой собакой, но это только пальто. Кофе. Ванильными духами Харлоу. Никак не получалось из-под всего этого выудить запах самого Лоуэлла. Я коснулась его колючей щеки, потеребила волосы, как делала в детстве, как делала Ферн с моими волосами.

Однажды на лекции я дотронулась до косичек женщины, сидевшей передо мной. Совершенно безотчетно. Просто вдруг нестерпимо захотелось их погладить. Она обернулась. “Моя голова — не ваша собственность”, — сказала ледяным тоном, и я, заикаясь, забормотала извинения, в ужасе от того, что, стоит мне отвлечься, как наружу вылезает моя обезьянья натура.

Послышались сигнальные гудки на ближайшем к нам переезде, поезд подъезжал с севера. Я лихорадочно прокручивала в голове все, что хотела сказать, пытаясь выбрать что-то одно и самое важное.

Выпалила спешно и опрометчиво:

— Я знаю, ты всегда винил меня за Ферн.

— И напрасно. Тебе было всего пять.

— Но я правда не помню, что произошло. Совсем ничего не помню про отъезд Ферн.

— Серьезно? — переспросил Лоуэлл и замолк.

Я видела, что он взвешивает, как и что мне рассказать. Это был плохой знак, то есть было, что скрывать. Сердце выпустило шипы, каждый удар — рана.

Подъехал поезд. Контролер откинул ступеньку для пассажиров. Кто-то сходил, кто-то поднимался в вагон. Времени не оставалось. Мы уже были

у ближайшей двери.

— Ты заставила маму с папой выбрать, — наконец произнес Лоуэлл. — Или ты, или она. Ты всегда была таким ревнивым ребенком.

Он закинул рюкзак внутрь, сам вскочил следом и обернулся ко мне.

— Тебе было всего пять, — повторил он. — Не вини себя.

Он пристально смотрел на меня, как смотрят на тех, кого долго не увидят. *Ее лицо, когда я бросил ее там одну.*

— Скажи маме с папой, что я люблю их! Да так, чтобы поверили, в этом вся сложность.

Он все еще стоял в дверях, лицо наполовину его, наполовину отцовское.

— И тебя тоже, сморчок. Ты даже не представляешь, как я по всем вам скучаю. Старый добрый Блумингтон. “Когда я грежу о лунном свете на реке Уобаш…”

Я тоскую о моем доме в Индиане.

Подбежала азиатка средних лет в джинсах и на высоких каблуках. Она легко взмыла на ступеньку, попутно хрястнув Лоуэлла сумкой.

— Бог мой, прошу прощения, — извинилась она. — Думала, я опоздала на поезд.

И исчезла в глубине вагона. Раздался свисток.

— Я очень рад, что у тебя есть подруга, — сказал Лоуэлл. — Харлоу к тебе явно привязана.

И тут пришел кондуктор и велел ему занять свое место. То были последние слова, которые я запомнила, сказанные моим старшим братом, моей личной кометой Хейла — Боппа, мелькнувшей и пропавшей из виду, — что Харлоу явно привязана.

Пробыл Лоуэлл совсем коротко, но успел нанести пару метких ударов. Я хотела, чтобы его мучила совесть из-за моей одинокой жизни, но Харлоу со своей идиотской дружбой все испортила, и в результате пристыдили как раз меня. Я всегда знала, что он винил меня за Ферн, но ни разу за десять лет это не произносилось вслух.

Слова Лоуэлла наложились на его отъезд, на недосып и шлейф от гнусного наркотика. Даже одного хватило бы, чтобы меня доконать. А все вместе было поистине сокрушительно. Я была подавлена и напугана, пристыжена и опустошена, одинока и выжата, накачана кофеином и убита горем и чувством вины, и много чего еще. Организм надломился. Я смотрела, как туман поглощает поезд, и ощущала только усталость.

— Ты любишь Ферн, — шепнул мне кто-то.

Не кто иной, как моя старинная воображаемая

подруга Мэри. Я не видела ее столько же, сколько и Ферн, и она ничуть не изменилась. Она не задержалась. Произнесла одно-единственное “ты любишь Ферн” и исчезла. Я хотела поверить ей. Но ведь в этом-то и заключалась роль Мэри — поддерживать меня во всем, что касалось Ферн. Может, она просто выполняла свою работу.

Мы называем их чувствами, потому что чувствуем их. Они рождаются не в мозгу, они возникают в нашем теле, как всегда утверждала мама, опираясь на великого материалиста Уильяма Джеймса. Это был дежурный элемент ее подхода к воспитанию — ты не властен над тем, что чувствуешь, только над тем, что делаешь. (Но рассказывать всем, что ты чувствуешь, — тоже *действие.* Особенно, если ты чувствуешь что-то плохое. Хотя в детстве это был не до конца проясненный момент.)

И теперь, продираясь сквозь изнеможение, прислушиваясь к каждому вдоху, каждому мускулу, каждому биению сердца, я всем нутром поняла: я любила Ферн. Я всегда любила Ферн. И всегда буду.

Я стояла на перроне, целиком уйдя в себя, и меня захлестнуло потоком картинок. Из моей жизни, только с Ферн, а не без нее. Ферн в дет-

ском саду вырезает индюшку из бумаги, обведя руку карандашом. Ферн в старших классах наблюдает в спортзале за баскетбольным матчем и громко ухает, когда Лоуэлл забрасывает мяч. Ферн в общежитии жалуется девочкам, какие у нас чокнутые родители. Ферн подает ужасно веселившие нас тогда знаки: *Лузер. Пофиг.*

Мне отчаянно не хватало ее в каждом из этих мест, в каждом из моментов, и я даже не подозревала об этом.

Но если вспомнить, была и ревность. И сейчас тоже, каких-то пятнадцать минут назад, когда узнала, что Лоуэлл приезжал ради нее, а не ко мне. А может, ревность между сестрами обычное дело.

Но уж точно не такая, чтобы отправить сестру прочь из дома.

Неужели я правда это сотворила? Вот где волшебная сказка зашла в тупик.

Я решила больше не думать об этом, пока хорошенько не отдохну. Вместо этого подумала я вот о чем: что за семья позволяет пятилетнему ребенку решать такие вопросы?

В автобусе на Вермиллион, рассказал Лоуэлл, он несколько часов сидел рядом с невестой по почте всего на год старше его, только что с Филиппин.

Ее звали Луйя. Она показала ему фотографию мужчины, за которого собиралась замуж. Лоуэлл не придумал, что хорошего можно сказать о человеке, который даже не встретил ее в аэропорту, поэтому просто промолчал.

Другой мужчина спросил: она в индустрии? Ни Лоуэлл, ни она не поняли, о чем он. А еще один пассажир с бегающими глазками и расширенными зрачками наклонился с заднего сиденья и сообщил, что уровень свинца в грудном молоке — часть тщательно спланированного заговора. Женщины больше не хотят быть привязанными к дому и семье. Они только и ждали предлога, чтобы уклониться, а тут как раз токсичное молоко. “Все они хотят ходить в брюках”, — произнес он.

— Я сегодня столько Америки вижу, — все повторяла Луйя с сильным акцентом.

Это стало его излюбленной фразой. Как что было не по душе, Лоуэлл говорил: “Я сегодня столько Америки вижу”.

Я направилась домой. Прогулка получилась зябкой. Призраки Ферн и Лоуэлла всех возрастов, всех настроений вились вокруг, появляясь и пропадая в тумане. Я шла медленно, чтобы оправиться от встречи и от расставания с Лоуэллом. И еще, по правде сказать, чтобы оттянуть свидание

с Харлоу.

Мне не хотелось переживать за Харлоу. Не хотелось, чтобы она оказалась последним, о чем говорил мне Лоуэлл. Но когда я вернусь домой, она будет там, лежать в моей кровати. И с ней придется общаться.

Я не думала, что Лоуэлл из тех парней, что бросают девушку сразу после секса. Просто такой уж он — уходил не прощаясь, ничего личного. Добро пожаловать в клуб, Харлоу.

В защиту брата могу сказать, он показался мне безумным. Безумным из серии “таблетки от врача закончились”. Знаю, что сгладила это. В моем пересказе Лоуэлл предстает более здравым, чем на самом деле. Я так сделала из любви к нему. Но я же пытаюсь быть честной. И никому не будет проку от моего умолчания, прежде всего Лоуэллу.

Так что, из любви к нему, давайте-ка я попробую заново. Пока мы были с Харлоу, он казался самым обычным, исключительно правдоподобным представителем фармацевтической компании, как он отрекомендовался, а может, и правда им был, как знать? То, что меня царапнуло, случилось позже, когда мы остались вдвоем в “Бэйкерз сквер”.

Дело не в гневных вспышках. Лоуэлл сердился, сколько я его помню, — топал ногой, показывал средний палец, грозный ураган в мальчишеском обличье. К этому я привыкла. Я скучала по его ярости.

Нет, здесь было меньше от шального, больше от умалишенного. Едва уловимо и не вполне явно я могла притвориться, что ничего не замечаю, и страшно хотелось так и поступить. Но даже после десяти лет без Лоуэлла я знала его наизусть. Знала его мимику и жесты, как когда-то у Ферн. Что-то не так было с его глазами. Не так с посадкой плеч, движением губ. Пожалуй, *безумный* не совсем верное слово — чересчур личное. Пожалуй, точнее будет *травмированный.* Или *нестабильный.* Лоуэлл казался нестабильным в самом буквальном смысле слова, словно человек, потерявший равновесие.

Так я Харлоу и скажу. Он не подлец, объясню я ей. Просто нестабильный. Уж кто-кто, а она должна понять.

На этом я отмахнулась от Харлоу, чтобы дать простор мыслям о Ферн. Довольно слез и сожалений. Лоуэлл сказал, что Ферн теперь моя забота. А разве было иначе? Пришел час озаботиться всерьез.

Регулярные отчеты — дело, конечно, хорошее, но наша Ферн не должна жить в клетке, в лаборатории. Но ведь Лоуэлл десять лет пытался ее вызволить. Он столкнулся с кучей проблем — как забрать ее без лишнего шума (а теперь еще и Хэйзел), к кому обратиться за помощью и как сохранить в тайне местонахождение, чтобы их не вычислили и не вернули обратно. Несколько имевшихся в Америке приютов для обезьян были переполнены, но, откройся правда, они не приняли бы двух похищенных шимпанзе.

Большой вопрос, куда ее деть, даже не будь необходимости ее прятать. Проблема денег; серьезная опасность представить двух новых шимпанзе в уже сложившуюся стаю. Что я вообще могу, если ничего не вышло у Лоуэлла, который гораздо умнее, и связей у него больше, и сам он куда отчаяннее? И захочется ли самой Ферн снова срываться с обжитого места, прочь от уже знакомых людей и обезьян? Лоуэлл сказал, что у нее в лаборатории теперь есть хорошие друзья.

Я подозревала, что все эти проблемы можно решить при помощи денег. Больших денег. Сумм из разряда “снять кино” или “основать фонд”. Из разряда у-тебя-никогда-не-будет-и-десятой-доли таких сумм.

Огромное множество проблем, на первый взгляд совершенно разных, в конце концов упирается в деньги. Не могу передать, как меня это возмущает. Ценность денег — просто разводка, с помощью которой те, у кого они есть, облапошивают тех, у кого их нет; “Новое платье короля” в масштабах всего мира. Если бы шимпанзе пользовались деньгами, а мы — нет, мы бы ничуть ими не восхищались. Мы бы считали это неразумным и примитивным. Бредовым. С чего вдруг золото? У шимпанзе единица обмена — мясо. Вот ценность мяса совершенно бесспорна.

Тут я вышла на свою улицу. Около дома были припаркованы три машины, в одной из них горел свет. Можно было различить водителя, здоровую тень в освещенном салоне. У меня засосало под ложечкой. ФБР. Едва не настигли Лоуэлла. Каково бы мне было, уговори я его остаться.

Потом присмотрелась получше. Старенькая “вольво”, когда-то белая. На бампере ошметки стикера, который кто-то сначала наклеил, а потом передумал и соскреб, оставив только букву В. Я постучала в окно, замок в дверце щелкнул, и я залезла внутрь. В машине было тепло и противно пахло, но с легким мятным налетом, как если, проснувшись, съесть тик-так. Свет горел,

потому что водитель читал, толстенную книгу “Введение в биологию”. Он выслеживал свою девушку и одновременно готовился к экзаменам. Многозадачность.

— С добрым утром, Редж, — сказала я.

— Чего так рано?

— Ходила с братом съесть пирога. — Что может быть невиннее, сладостно-американистее. — А ты что здесь делаешь?

— Теряю самоуважение.

Я похлопала его по руке.

— Молодец, что настолько хватило.

Ситуация, конечно, неловкая. Ночью я сообщила Реджу по телефону, что Харлоу не у меня. Его присутствие здесь, эта нехитрая засада недвусмысленно выставляли меня лгуньей.

Было бы неплохо почувствовать себя оскорбленной, подивиться безумию его ревности, но все сводилось на нет возможностью в любой момент узреть Харлоу в дверях.

— Езжай домой, — сказала я. — Она наверняка уже там, недоумевает, куда ты запропастился.

Он пристально взглянул на меня и отвернулся.

— Думаю, мы расстаемся. Думаю, я с ней расстаюсь.

Я издала какой-то неопределенный звук. Напо-

добие хмыка. Редж расставался с ней, когда я их впервые увидела, и еще сто раз после.

— Хейтос, — наконец выдала я и заботливо пояснила: — Удовольствие, которое получаешь от ненависти к чему-либо.

— В точку. Мне нужна нормальная девушка. Спокойная. Никого нет на примете?

— Я бы вызвалась, если бы ты был богатым. Прямо дико богатым. Могла бы побыть спокойной ради бешеных денег.

— Польщен, но — нет.

— Тогда не трать мое время и двигай домой.

Я вылезла из машины и вошла в подъезд. Не стала смотреть, что он там делает, решила, это будет выглядеть подозрительно. Поднялась по лестнице.

Эзры было не видать, слишком ранний час, чтоб нести бремя управления домом. Тодд еще не вернулся. Мадам Дефарж восседала на диване, игриво закинув ноги за голову. Я взяла ее с собой в комнату Тодда и, не выпуская из рук, заснула. Во сне мы с Реджем спорили, что гуманнее — гильотина или электрический стул. Не помню, кто был за что. Помню, что его аргументы, неважно какие, были совершенно неприемлемы.

3

В нашем завтраке я опустила не только нестабильность Лоуэлла. Но и очень многое из того, что он рассказал. Слишком ужасное, чтобы это повторять, да вы на самом деле и так все знаете. Я опустила эти вещи, потому что не хотела бы их слышать, и, поверьте, вы тоже не хотите.

Но Лоуэлл сказал бы, что это наш долг.

Он рассказал мне об эксперименте здесь, в Дэвисе, который продолжался тридцать лет. Несколько поколений биглей подвергались воздействию стронция-90 и радия-226, им были удалены голосовые связки, чтобы не было слышно их мучений. По его словам, занятые в эксперименте сотрудники в шутку именовали себя Клубом биглей.

Он говорил об автомобильных компаниях, которые, изучая аварийные характеристики машин, раз за разом наносили страшные тяжелейшие удары по головам насмерть перепуганных бабуинов в полном сознании. О фармацевтических компаниях, которые подвергали собак вивисекции, о лаборантах, оравших, чтобы те перестали валять дурака, когда псы жалобно скулили или сопротивлялись. О фармацевтических компани-

ях, которые втирали химические препараты в глаза пищащим кроликам и усыпляли их, если повреждения были необратимы, или же повторяли все заново, если кролики приходили в себя. О бойнях, где коровы были до такой степени напуганы, что у них обесцвечивалось мясо. О набитых до отказа клеточных батареях для кур-несушек, где, как годами повторял дядя Боб, выводили кур, которые не могли стоять, не то что ходить. О том, что в развлекательной индустрии бывают только детеныши шимпанзе, потому что с возрастом они становятся слишком сильными и ими трудно управлять. Этих малышей, которые должны бы висеть у матери на закорках, засовывали в отдельные клетки и били бейсбольными битами, чтобы потом на съемочной площадке те становились послушными от одного вида биты. И тогда в титрах можно было честно написать, что ни одно животное не пострадало во время съемок, ведь весь ужас случился еще до того, как фильм был запущен.

— Весь мир, — сказал Лоуэлл, — живет на топливе этих бесконечных безмерных страданий. Люди обо всем прекрасно знают, но их не смущает то, чего они не видят. Заставь их посмотреть, и они возмутятся увиденным, но возненавидят

именно тебя, потому что ты заставил их посмотреть.

Они, говорил мой брат всякий раз, как заводил речь о людях. Не *мы.*

Несколько дней спустя я пересказала все эти вещи в выпускном эссе на тему “Религия и насилие”. Излить это на бумагу было сродни экзорцизму, попытке выгрузить из собственной головы в чью-то еще. Дело кончилось кабинетом доктора Сосы, под цветным, размером с плакат, отпечатком фотографии “Столпы творения” телескопа “Хаббл”. На противоположной стене красовалась цитата: “Каждый думает о том, чтобы изменить мир, но никто не думает о том, чтобы изменить себя”. Несомненно, кабинет доктора Сосы призван был вдохновлять.

Еще он запомнился мне праздничным убранством. Вдоль книжных полок были развешаны гирлянды рождественских лампочек, на столе стояли банки леденцов, которые нам предлагалось посасывать во время беседы.

— Я не хочу заваливать вас на экзамене, — сообщил доктор Соса, и в этом мы были исключительно на одной волне; я тоже этого не хотела.

Он сидел, развалившись в кресле, водрузив ноги на импровизированную подставку из стопки

журналов. Одна рука, покоившаяся на животе, вздымалась и опускалась в такт дыханию. В другой он держал банку леденцов и время от времени взмахивал ею.

— Ваши предыдущие работы были хороши, а последняя… в ней много страсти. Вы затронули важные проблемы. — Доктор Соса резко выпрямился и опустил ноги на пол. — Но вы же понимаете, что не ответили собственно на вопросы задания? Даже близко не ответили.

Он подался вперед, чтобы мне пришлось посмотреть ему в глаза. Знал, что делает.

Но и я тоже. Зря, что ли, меня муштровали с пеленок? Я переняла его позу и не отвела взгляд.

— Я писала о жестокости. О сострадании. О Другом. Мне казалось, все это имеет отношение к теме. Томас Мор говорит, что жестокость людей друг к другу начинается с жестокости по отношению к животным.

Я упомянула это в эссе, так что доктор Соса уже вынес встречу с Томасом Мором. Но когда я наклонилась вперед, рождественские лампочки выскочили из-за его висков, словно раскаленные пылающие рога. И мои доводы немедленно померкли.

На самом деле, Томас Мор выступает не против

жестокости к животным, а скорее призывает обращаться к кому-то, кто совершит жестокость за вас. Ему важно, чтобы утопийцы не замарали рук, что очень походит на то, как это дело поставлено у нас. Правда, я не уверена, что подобное решение проблемы так благотворно отразилось на нашей тонкой душевной организации, как он рассчитывал. Не думаю, что это сделало нас лучше. И Лоуэлл не думает. И Ферн тоже.

Хотя я ее не спрашивала. Хотя я теперь уже не знаю наверняка, что она думает.

Доктор Соса прочел вслух первый вопрос.

— "Секуляризация возникла прежде всего как путь к ограничению жестокости. Ваш комментарий".

— Не впрямую, но связь прослеживается. Есть ли у животных душа? Классическая религиозная дилемма. Серьезнейшие последствия.

Доктора Сосу не так просто было сбить с панталыку. Второй вопрос: "Всякое проявление жестокости, претендующее на религиозные корни, есть искажение истинной природы религии. Ваш комментарий с конкретными отсылками к иудаизму, христианству или исламу".

— А если я говорю, что наука для некоторых людей является своего рода религией?

— Я не соглашусь, — радостно возразил доктор Соса. — Когда наука превращается в религию, она перестает быть наукой.

Рождественские лампочки праздничными огоньками блеснули в его темных глазах; как всякий порядочный профессор, он обожал споры.

Вместо неуда он предложил прослушать курс еще раз, потому что я всю четверть была очень внимательна на занятиях, потому что честно явилась в кабинет и отстаивала свою тему. Я согласилась.

Мои отметки пришли сразу после Рождества.

— Ты вообще понимаешь, сколько мы платим за твой колледж? — спросил отец. — Как вкалываем, чтобы заработать эти деньги? А ты просто спускаешь их в унитаз.

Я занималась как проклятая, надменно сообщила я. Историей, экономикой, астрономией, философией. Я читала замечательные книги и много думала. В этом вроде как смысл обучения в колледже. Указала на то, что с людьми есть одна проблема (если бы только одна) — они полагают, будто все измеряется в долларах и центах.

С таким настроем и отметками Санта явно оставит меня без подарков.

— У меня нет слов, — сказала мама, что было

полнейшей неправдой.

4

Но я забегаю вперед.

Вернемся в Дэвис, где из 309-й квартиры прямо под нами выехал мистер Бенсон. Я была мало знакома с мистером Бенсоном, мужчиной неопределенного возраста, что обычно означает между сорока и пятьюдесятью, который как-то при встрече отрекомендовался мне как единственный толстяк города Дэвиса. Он работал в книжном “Эвид ридер” и частенько пел в душе *“Dancing Queen”*[17] так, что нам наверху было слышно. Мне он нравился.

Последний месяц он провел в Грасс-Вэлли, ухаживая за матерью. Она умерла через сутки после Дня благодарения, судя по всему, оставив наследство, поскольку мистер Бенсон бросил работу, заплатил за квартиру и нанял контору по переезду упаковать его имущество. Сам он уже не возвращался. Все это я узнала от Эзры, который с грустью заметил, что мистер Бенсон оказался куда большим неряхой, чем можно было подумать.

Пока 309-ю квартиру убирали, красили, ре-

---

[17] Примечания: 17

“Танцующая королева” *(англ.),* песня группы ABBA.

монтировали и застилали ковролином, Эзра разрешил Харлоу в ней пожить. Подозреваю, хозяин дома был не в курсе. Эзра очень переживал, что она попала на третий этаж вместе со всяким сбродом, но пребывал в полнейшем экстазе от того, что она в принципе очутилась в нашем доме. Он беспрестанно забегал туда — дел там было невпроворот.

Харлоу сносила тяготы ремонта, отсутствие мебели и, вероятно, навязчивое внимание Эзры, проводя добрую часть дня в нашей квартире. Тодд хмурился, но ведь это временно. Скоро мы все разъедемся на Рождество, а когда вернемся, уже заселится настоящий жилец. Надо полагать, заметила я Тодду, он не захочет получить квартиру с Харлоу в нагрузку. Но Тодд не был так уж уверен.

Я считала, что она так или иначе вернется к Реджу. Я не видела его с того утра в машине, и Харлоу о нем толком не заговаривала. Я даже не знала, кто с кем порвал.

Харлоу сидела у нас на диване, пила наше пиво и без умолку трещала о Лоуэлле. Он предупредил ее, что не вернется, но она не поверила. Как и все им сказанное, она изучала эти слова под микроскопом маниакальной одержимости. Я

была его сестрой. Разумеется, он вернется, хотя бы ради меня.

Что он имел в виду, говоря, что нервничает в ее присутствии? А говоря, что у него ощущение, будто он знает ее всю жизнь? Разве эти вещи не противоречат друг другу? Что я об этом думаю?

Она хотела вызнать о нем все — каким он был в детстве, сколько у него было девушек, сколько из них — серьезно? Какая у него любимая группа? Верит ли он в Бога? Что он любит?

Я сказала, что он любил “Звездные войны”. Играл в покер на деньги.

Держал в комнате крыс, почти все были именованы по названиям сыров. Она была в восторге.

Я сказала, что у него за всю школу была только одна девушка, мормонка Китч с безумными глазами. Что он был разыгрывающим защитником в школьной баскетбольной команде, но кинул самую важную игру. С лучшим другом Марко воровал в супермаркете конфеты. Но я будто наркотой торговала — что ни скажи, все мало. Я теряла терпение. Мне вообще-то сочинения надо писать.

Ну а что он мне о ней говорил?

— Сказал, что рад, что мы — подруги. Сказал, что ты явно привязана ко мне.

— Так и есть! — Харлоу вся сияла. — А еще что?

Больше ничего, но так ответить было слишком жестоко. Равно как и дать напрасную надежду.

— Трэверс уехал, — твердо произнесла я, глядя в ее сияющее лицо.

Наверное, я говорила это себе в не меньшей степени, чем ей. Я полжизни провела в ожидании Лоуэлла, и теперь нам просто надо научиться жить без этого ожидания.

— Вот что. Его разыскивают. Из серии “их разыскивает полиция”. Ищет ФБР как террориста Фронта освобождения животных на территории Америки. Ты не можешь даже заикнуться о том, что он был здесь, или меня арестуют. Снова. Но уже по-настоящему.

До тех выходных я не видела его десять лет. И знать не знаю, какая у него на фиг любимая группа. Его даже звать не Трэверсом. Ты серьезно, серьезно, серьезно должна о нем забыть.

И опять я в своем репертуаре, не умею держать язык за зубами.

Потому как теперь замаячила натуральная “Касабланка”! Харлоу внезапно осознала, что всегда мечтала о человеке принципов. Человеке дела. Американском террористе.

Мечта каждой девушки, если под рукой нет

вампира.

У Фронта освобождения животных нет органов управления, штаб-квартиры, списка членов. Он состоит из множества автономных ячеек. Настоящая головная боль для ФБР, поскольку один человек приводит максимум к другим двум-трем, и на этом цепочка обрывается. Лоуэлл привлек их внимание, потому что слишком много болтал — глупая ошибка новичков, которую он уже не повторял (и забавная, учитывая, сколько раз он говорил, что я не умею держать язык за зубами).

Вступить в ФОЖ может любой человек. Более того, любой, кто как-либо связан с освобождением животных, кто физическим образом противодействует эксплуатации и жестокому обращению с ними, автоматически становится членом Фронта на период совершения акции, как гласят принципы ФОЖ. ФОЖ не готов мириться с физическим насилием по отношению к любым животным, людям и т. д.

А вот уничтожение собственности как раз очень поощряется. Нанесение экономического ущерба тем, кто наживается на страданиях, декларируется как одна из целей. Равно как и необходимость максимальной огласки случаев жестокого обращения — нужно выводить на свет

божий ужасы, творимые в секретных лабораториях. Вот почему некоторые штаты подумывают ввести законы, по которым несанкционированные съемки происходящего на агропромышленных фермах и бойнях будут считаться тяжким преступлением. Показывать людям то, что происходит на самом деле, вот-вот станет серьезным правонарушением.

Точно так же, как членства автоматически удостаиваются за проведенную акцию, без нее членство никоим образом невозможно. Нельзя вступить в ФОЖ, просто сочувствуя идеям. Нельзя вступить, расписывая, как вам невыносимы страдания животных. Необходимо что-то *сделать*.

В 2004 году Жак Деррида заявил, что перемены уже на подходе. Пытки разрушают не только тех, кого пытают, но и тех, кто пытает. Неслучайно один из видов пыток в Абу-Грейб пришел в армию прямиком с птицеперерабатывающей фабрики. Может, не так быстро, говорил Деррида, но со временем насилие, причиняемое животным, станет несовместимо с представлением людей о себе самих.

ФОЖ не слишком интересно, когда оно не быстро.

Да и с чего бы? Ведь этот ужас, весь этот ужас

происходит прямо сейчас.

Харлоу чахла. Лицо опухло, глаза красные, губы искусанные, кожа бледная. Она перестала заходить к нам, два дня не таскала еду из нашего холодильника, что вполне могло означать, что она не ела. Эзра, обвязанный поясом с инструментами сильно ниже талии, устроил важное совещание на четвертом этаже — присутствовали он да я, — чтобы сообщить, что давеча обнаружил Харлоу вниз лицом на полу, на свежеположенном ковре 309-й квартиры. Может, она плакала, сказал он. Эзра был из тех мужчин, кого так расстраивают женские слезы, что ему бы лучше их вовсе не видеть.

Эзра винил Реджа. Несмотря на блаженную уверенность, что он держит руку на пульсе всего происходящего в доме и с жильцами, Эзра дрогнул. — Ты должна поговорить с ней, — заявил он мне. — Объясни ей, что любой конец — это новое начало. Ей надо услышать это от друга.

По его мнению, Редж мог быть скрытым гомосексуалистом или же пережил сексуальное насилие в детстве. Он католик? Если нет, то нет никакого оправдания такой жестокости, и Харлоу еще повезло, что она вовремя сбежала.

Эзра также сказал Харлоу, что в китайском

закрыть дверь и *открыть дверь* обозначает один и тот же иероглиф. И лично он, Эзра, в трудную минуту находил большое утешение в этом наблюдении. Не знаю, откуда он это взял, как правило, большая часть его цитат была из “Криминального чтива”. Почти уверена, что это неправда.

Я сказала ему, что в китайском иероглиф для женщины — это мужчина на коленях, и вряд ли лекарство от разбитого сердца Харлоу кроется в древней мудрости Востока. Я не пошла с ней разговаривать. И часто думала, а что было бы, если б сходила.

Но я все еще злилась на нее. Я считала, у Харлоу нет права так сильно горевать, нет оснований претендовать на Лоуэлла. Она сколько вообще с ним пробыла? Четверть часа? Я любила его двадцать два года и почти все время ужасно по нему скучала. Харлоу должна бы обо *мне* печься, так я считала.

Иногда я задумываюсь: только я всю жизнь раз за разом повторяю одну и ту же ошибку или людям это вообще свойственно? У всех ли есть склонность к одному главному пороку?

Если оно так, то мой — ревность, и есть большой искус отнести эту прискорбную одержимость за счет характера. Но отец, будь он жив, конечно, не

согласился бы. Кем я себя возомнила? Гамлетом? Современные психологические исследования говорят о том, что характер играет поразительно скромную роль в поведении человека. Мы просто остро реагируем на самые банальные перемены обстоятельств. В этом мы совершенно как лошади, только не такие одаренные.

А я вот не уверена. С годами я пришла к мысли, что реакции людей куда больше определяются тем, каковы они, чем тем, что мы им, собственно, сделали. Само собой, мне удобно так думать. Все, кто в школе так гадко себя со мной вел, они же попросту несчастные люди!

Значит, исследования не на моей стороне. Но будут и другие. Мы передумаем, и окажется, что я всю дорогу была права, пока не передумаем снова, и опять окажется, что я ошибалась.

А до тех пор оставим последнее слово за отцом и снимем с меня груз ответственности. И тогда есть вероятность, что близость выпускных сыграла большую роль, чем ревность. Было делом чести сдать хотя бы несколько предметов. К тому же надо мной висела курсовая. Не скажу, что дотянула с ней до последнего, но до сдачи оставалось всего ничего. Мне моя тема была интересна, что удивительно, потому что профессор велел нам

определиться еще несколько недель назад, когда невозможно было предсказать, что будет интересно к моменту, когда начну писать. Я выбрала тему того, как теоретическое наличие зла в “Утопии” Томаса Мора выражалось в его собственной жизни и общественной деятельности. Это один из сюжетов, к которым имеет отношение все, что так или иначе проскакивает у нас в голове. В моем случае так можно сказать о большинстве тем.

И потом еще столько приходилось звонить по поводу чемодана. Женщина, отвечавшая за багаж в аэропорту Сакраменто, уже называла меня дорогушей, вот как мы сблизились.

Так что я задвинула Харлоу подальше — последнего человека, которого стоило задвинуть подальше. И вот за двадцать четыре часа до самолета в Индианаполис я укладывала вещи в спортивную сумку, позаимствованную у Тодда, напевала “Радость в мире”, обдумывала, что рассказать родителям о Лоуэлле и может ли новый дом тоже быть на прослушке, как и прежний, что приводило отца в бешенство — как будто мы подопытные крысы под постоянным наблюдением, вот на что идут наши налоги, говорил он, — и, возможно, стало истинной причиной нашего переезда. А заодно пыталась сообразить,

как попросить новый велосипед на Рождество, поскольку потеряла свой в том наркотическом трипе. Так вот, пока я была всем этим занята, у двери нарисовался полицейский.

5

На этот раз не Арни. Полицейский не представился. У него было треугольное лицо, как у богомола, широкий рот, острый подбородок; он излучал неумолимое беспримесное зло. Вполне вежливо попросил пройти с ним, но я почуяла, что друзьями нам не стать. Он не представился, и меня это устраивало. Знать его имя мне ничуть не хотелось.

На этот раз я шла без наручников. Меня не посадили в камеру. Не отвели в кабинет подписать бумаги. Вместо этого оставили одну в комнате для допросов. В ней было почти пусто, только два неудобных пластиковых стула оранжевого цвета и стол, покрытый линолеумом. Дверь заперли. В комнате было холодно, и мне тоже.

Никто не приходил. На столе стоял графин с водой, но не было стаканов. Нечего почитать, даже какой-нибудь брошюрки о поведении на дороге или технике безопасности в обращении с оружием, или о том, какой трагической ошибкой

вашей жизни станет употребление наркотиков. Я сидела и ждала. Я поднялась и прошлась. У меня есть привычка, которой я никогда не изменяла, в любом месте смотреть вверх, прикидывать, докуда смогу взобраться, докуда Ферн и Мэри могли бы залезть. Окон в комнате не было, а стены совсем голые. Никто из нас особо не преуспел бы.

Никто, похоже, не собирался нападать на меня с электрошокером, но меня пытались поставить на место. Было неожиданно осознать, что со мной это не пройдет. Я и сама не знала, где мое место. Тем более кто-то другой.

На полу лежала мокрица, и я стала разглядывать ее, хоть какое-то занятие. Ферн обычно съедала мокриц, чего мама старалась не допускать, но папа сказал, что на самом деле они скорее не клопы, а наземные ракообразные, дышат через жабры, а в крови у них медь вместо железа, и тому, кто хоть раз ел креветки, нечего воротить нос от мокриц. Не помню, чтобы я их ела, но явно попробовала, потому что точно знаю, что они хрустят во рту, как кукурузные хлопья.

Мокрица ползла к стене, потом вдоль стены, пока не уперлась в угол. Это ее то ли смутило, то ли озадачило. Прошло утро. Я узнала, как скудны мои внутренние ресурсы.

Полицейский, который приходил за мной, наконец появился снова. Он принес диктофон, который положил на стол между нами, большую стопку бумаг, папок и записных книжек. Поверх стопки я заметила старую газетную вырезку; был виден заголовок: “Проект сестер из Блумингтона”. Значит, о нас с Ферн когда-то писали в “Нью-Йорк таймс”. Не знала этого.

Полицейский сел и принялся перебирать бумаги. Тянулись долгие минуты. В старые добрые времена я бы непременно заговорила, и я видела, что он ждет этого. Мы играли в игру, и я была намерена выиграть; ни за что не заговорю первой. Вот бы удивились моя прежняя няня Мелисса и бабушка с дедушкой Куки. Я пыталась представить, как бы они подбадривали меня в этой комнате. “Замолчи! Прекрати свою адскую болтовню! Хоть минуту дай передохнуть, собственных мыслей не слышно!”

Так и запишите. Полицейский сдался и включил диктофон. Наговорил дату и время. Велел назвать мое имя. Назвала. Спросил, знаю ли я, почему нахожусь здесь. Не знала.

— Вашего брата зовут Лоуэлл Кук, — произнес он. Звучало не как вопрос, но я ошибалась. — Подтвердите, — бесстрастно велел он.

— Да.

— Когда вы видели его в последний раз?

Я подалась вперед, чтобы встретиться глазами, что так удачно проделал недавно доктор Соса.

— Мне нужно в туалет, — сказала я. — И я требую адвоката.

Может, я всего лишь студентка, но сериал-другой посмотреть довелось. Я пока еще не боялась, по крайней мере за себя. Я решила, что они поймали Лоуэлла, и это ужасно, ужасно, но я не могла позволить этой ужасности испортить единственную вещь, которую мне нужно было сделать, — не брякнуть чего-то, что можно использовать против него.

— Зачем вы это делаете? — полицейский раздраженно вскочил. — Вы не арестованы. Это просто дружеская беседа.

Он выключил диктофон. Вошла женщина с тонкими капризными губами и налаченным каре и проводила меня в туалет. Она ждала у кабинки, слушая, как я писаю и сливаю воду. Когда привела обратно, комната снова была пуста. Со стола исчезли бумаги и все остальное. Даже графин.

Текли минуты. Я снова воззрилась на мокрицу. Она не шевелилась, и я заволновалась, вдруг она скорее мертвая, чем озадаченная. Мне послы-

шался запах морилки. Я стояла, прислонившись спиной к стене, и начала сползать, пока не села на пол. Тронула мокрицу пальцем и с облегчением увидела, что та свернулась колечком. В голове возник образ черной кошки с белыми мордочкой и брюшком, свернувшейся клубком с хвостом на носу.

Лоуэлл говорил мне, что я не умею держать язык за зубами. Говорил, что заставила маму с папой выбирать.

Эта кошка была очень похожа на ту, что мой отец сбил машиной, только эта кошка просто спала. Другая кошка, услышала я где-то в недрах головы голос, резко чеканивший каждую согласную. Другая кошка.

Не припомню, чтобы раньше так отчетливо слышала в голове голос. На мой не походил. Кто же ведет это цирковой фургончик между моих ушей? Чем занята хозяйка голоса, когда не говорит со мной? Какими такими проказами и плутнями? Слушаю, сказала я ей, но не вслух, на случай, если за мной наблюдали. Она не ответила.

В комнату допросов почти не проникали звуки извне. Все те же неприятные шипящие лампы дневного света, которые я заметила в свой первый

приход. Я обдумывала, что сказать следующему человеку, который войдет в дверь. Попрошу принести мою куртку и что-нибудь поесть. Я в то утро не позавтракала. Попрошу позвонить родителям. Бедные мама с папой. Все трое детей за решеткой; злой рок, не иначе.

И снова попрошу адвоката; может, как раз этого мы сейчас и ждем, приезда адвоката, хотя никто не намекал на такую возможность. Мокрица начала осторожно разворачиваться.

Женщина, водившая меня в туалет, вернулась. Она принесла бумажную тарелку с сэндвичем с тунцом и горсткой чипсов. Сэндвич был плоский, как будто кто-то держал его между страницами книги, как памятный подарок, а чипсы зелеными по краям, но, может, дело в освещении.

Она спросила, надо ли мне еще в туалет, я не хотела, но решила лучше сходить, пока есть возможность. Хоть какое-то занятие. Вернулась и съела кусок сэндвича. Руки пахли тунцом, и этот запах на руках мне не нравился. Они пахли кошачьей едой.

Я задала голосу другой вопрос — а была ли *та* кошка? В голове возник образ бродячей кошки с глазами круглыми, как луна, которую мы часто видели рядом с фермерским домом, когда я

была маленькой. Мать оставляла ей еду зимой и несколько раз пыталась поймать, чтобы стерилизовать, но кошка была слишком умной, а у матери было слишком много дел.

С тех пор как мама прочитала нам “Миллион котов” с манящими картинками, я отчаянно захотела кошку. Этого не случилось, учитывая бесконечных крыс, которые беспрестанно появлялись в доме. “Кошки — убийцы, — говорил отец. — Одно из немногих животных, которое убивает просто ради забавы. Поиграть с едой”.

Я начинала нервничать. Когда кошка испугана, шерсть у нее становится дыбом, чтобы казаться больше. То же самое и у шимпанзе. У людей появляется гусиная кожа. Как у меня сейчас.

Я видела рисунок с последним котенком из “Миллиона котов”, тем, которого взяла себе пожилая пара. Я видела Ферн, сидящую с моей матерью в большом кресле; она клала руку на страницу, сжимала и разжимала пальцы, словно пытаясь его ухватить.

— Ферн хочет котенка, — сказала я матери.

Круглоглазая кошка родила трех котят. Я обнаружила их как-то днем, разлегшихся на солнечном мшистом берегу ручья, за кормлением. Они нажимали своими крохотными лапками на

кошкин живот и выдаивали молоко себе в рот. Двое были черными и совершенно одинаковыми. Мать приподняла голову и посмотрела на нас, но не пошевелилась. Она редко подпускала меня так близко. Материнство ее укротило.

Котята не были новорожденными. Они уже вполне могли скакать и резвиться, котята в расцвете своей котеночьей милоты. Меня захлестнуло желание иметь такого. Я знала, что надо оставить их в покое, но все же оторвала НеПохожего, серенького, от груди и перевернула, чтобы узнать пол. Он громко протестовал. За зубами и языком было видно розовое горлышко. От него пахло молоком. Все в нем было махонькое и совершенное. Мать хотела получить его обратно, но и мне тоже его хотелось. Я подумала, что, найди я его без матери, окажись он одиноким сиротой, нам пришлось бы его забрать.

В комнате для допросов меня била дрожь. “Здесь очень холодно, — сказала я вслух, на случай, если за мной наблюдали. Не хотела, чтобы они думали, будто их тактика срабатывает. Не хотела доставить им такого удовольствия. — Можно мне мою куртку, пожалуйста?”

Трясло на самом деле не потому, что меня часы напролет держали в холодной пустой комнате. И

не потому, что полицейский, который меня сюда препроводил, по всей видимости, излучал то же, что и Кайзер Сосе; и не потому, что знал обо мне с Ферн; и не потому, что арестовал Лоуэлла. Меня трясло не из-за того, что происходило сейчас или могло произойти позже. Я с головой ушла в забытый, очень спорный мир фантазий из прошлого.

Зигмунд Фрейд полагал, что у нас нет воспоминаний из раннего детства. А есть ложные воспоминания, которые возникают позднее и имеют больше отношения к взгляду из этого времени, чем к реальным событиям прошлого. Иногда, в моменты серьезных эмоциональных переживаний, один образ во всей своей полноте и глубине, заменяет другой, который попросту отбрасывается и забывается. Это называется вытеснением. Вытеснение — компромисс между памятью о чем-то, причиняющим страдания, и защитой от этого воспоминания.

Наш отец всегда говорил, что Зигмунд Фрейд был выдающимся человеком, но не ученым, и то, что люди спутали одно с другим, имело катастрофические последствия. Так что, когда я пишу здесь, что, по моему ощущению, воспоминание о том, чего никогда не было, — это вытеснение, я говорю об этом с большой грустью. Излишне

жестоко по отношению к отцу оскорблять его слух фрейдистским анализом вдобавок к обидной идее, что он безо всякой причины сбивал кошек машиной.

Вы помните, как, когда исчезла Ферн, меня, пятилетнюю, отправили к бабушке с дедушкой в Индианаполис. Я рассказала, что там произошло. Рассказала, что произошло после.

А вот что, как я думаю, произошло до. И здесь важно предупредить — это воспоминание не ярче того, которое оно заменило.

6

Мы с Ферн спустились к ручью. Она взобралась на дерево и раскачивалась вверх-вниз на ветке. На ней была клетчатая юбка из тех, что перехвачены спереди большой булавкой. У Ферн булавки не было, и юбка крыльями порхала у ее ног. Больше на ней ничего не было. Она почти приучилась к горшку и уже который месяц ходила без подгузников.

Когда ветка опускалась, у меня иногда, если подпрыгнуть, получалось коснуться ее ноги. Так мы и играли — она склоняла вниз ветку, я прыгала. Если касалась ноги, то выигрывала. Если нет — победа за Ферн. Мы не считали очки, но обе

были страшно довольны, значит, шли примерно вровень.

Но потом игра ей надоела, и она забралась выше, докуда мне было не достать. Ферн не слезала, только смеялась и швыряла в меня листьями и веточками, на что я заявила, что, мол, ну и ладно. И уверенно направилась к ручью, будто у меня там важное дело, хотя для головастиков время года было слишком позднее, а для светлячков день слишком ранний. На краю ручья я обнаружила кошку с котятами.

Взяла серого и уже не отдавала, несмотря на крики матери. Я отнесла его Ферн. Чтобы похвастать. Я знала, как бы ей хотелось котенка, но заполучила-то его я.

Она тут же смахнула вниз. Знаками просила отдать ей, и я сказала, что котенок мой, но подержать дам. Круглоглазая кошка всегда была со мной игрива, но к Ферн и близко не подходила. Даже в гормональном чаду материнства она не позволила бы Ферн тронуть котенка. Заполучить его Ферн светило только из моих рук.

Котенок продолжал отчаянно мяукать. Прибежала мать, и было слышно, как вопит пара брошенных черных у ручья. Шерсть у нее встала дыбом, и у Ферн тоже. Дальше все произошло в

считаные секунды. Кошка шипела. Серый котенок в руках Ферн громко кричал. Мать вцепилась в Ферн когтями. И Ферн хряснула крохотное совершенное создание о дерево. Котенок болтался в ее руках с разорванной пастью. Она раскрыла его пальцами, будто кошелек.

Я смотрела на все это в моем воспоминании и снова слышала слова Лоуэлла о том, что мир живет на топливе бесконечных безмерных страданий животных. Черные котята все еще кричали в отдалении.

В полной истерике я помчалась в дом, к маме, чтобы она пришла и все поправила, поправила котенка, но по дороге налетела на Лоуэлла, буквально налетела, отчего грохнулась на землю и ободрала коленки. Я пыталась объяснить ему, что стряслось, но сбивчиво и бессвязно, и он взял меня за плечи, чтобы успокоить. И велел отвести к Ферн.

Она уже была не у дерева, а сидела на корточках у ручья. Руки мокрые. Кошек, живых или мертвых, нигде не было.

Ферн вскочила, схватила Лоуэлла за щиколотки и потешно перекувырнулась между ногами, сверкнула веснушчатым задом, и юбка снова благопристойно опала. В шерсти на руках застряли

колючки. Я показала Лоуэллу: “Она спрятала котенка в кустах. Или бросила в ручей. Надо найти его. Надо отнести его к врачу”.

— Где котенок? — спросил Лоуэлл и вслух, и жестами, но она не обращала внимания, примостившись на его башмаках и обвив руками ноги. Она любила так передвигаться. Я тоже, но только с папой — ноги Лоуэлла были для меня маловаты.

Ферн прошлась с ним несколько шагов и как всегда бездумно весело соскочила на землю. Уцепилась за ветку и раскачивалась взад-вперед, потом спрыгнула. “Догони, — показала она, — догони”. Хороший спектакль, но не лучший. Она знала, что провинилась и только притворялась, что все путем. Неужели Лоуэлл этого не видел?

Он сел на траву, подошла Ферн, уткнулась подбородком ему в плечо, подула в ухо.

— Может, она случайно поранила какую-то кошку, — выдвинул версию Лоуэлл. — Она не сознает своей силы.

Сказано в виде одолжения: он не поверил мне. А поверил он в то, во что верил всегда и по сю пору, — что я все это придумала, чтобы напакостить Ферн. Не было ни тела, ни крови. Все тихо-спокойно.

Я искала в зарослях амброзии, портулака, паслена, среди одуванчиков. Искала среди камней в ручье, и Лоуэлл мне даже не помог. Ферн наблюдала из-за его спины, ее янтарные глаза блестели и, так мне, по крайней мере, казалось, весьма злорадно.

Я считала, что Ферн выглядит виноватой. Лоуэлл считал, что я. Он был прав. Ведь это я забрала котенка у матери. Я отдала его Ферн. Я виновата в том, что случилось. И все же не я одна.

Я не виню Лоуэлла. В пять лет у меня уже была твердая репутация выдумщицы. Я хотела восхищать и развлекать. Не столько приврать, сколько добавить драмы, чтобы расцветить не слишком броскую историю. Но разница нередко стиралась. Девочка, Которая Кричала: “Волки”, прозвал меня папа.

Чем дольше я искала, тем больше раздражался Лоуэлл.

— Не смей никому рассказывать! — велел он. — Слышишь, Рози? Я серьезно. У Ферн будут проблемы, и я тебя возненавижу! Навсегда возненавижу! Всем разнесу, что ты законченная врунья. Обещай, что ничего не скажешь!

Я честно собиралась сдержать обещание. Угроза, что Лоуэлл будет меня всю жизнь ненави-

деть, — это не шутки.

Но хранить молчание было выше моих сил. Одно из многого, что Ферн могла, а я — нет.

Несколько дней спустя я хотела войти в дом, но Ферн не пускала. Это тоже была игра, легкая игра. Хотя и меньше меня ростом, Ферн была проворнее и крепче. И когда я пыталась проскочить мимо, она схватила меня за руку и с такой силой дернула назад, что в плече что-то хрустнуло. Она смеялась.

Я расплакалась и стала звать маму. Это были слезы досады и злости оттого, что Ферн так легко победила. Я сказала матери, что Ферн сделала мне больно, что случалось довольно часто, и поскольку обошлось без серьезных травм, то и обвинение было несерьезно. Дети вечно куролесят, пока кому-то не достанется; так устроены все семьи. Матери, предупреждая, что этим все кончится, больше сердятся, чем волнуются.

Но потом я добавила, что боюсь Ферн.

— Да с чего вдруг ты боишься малышки Ферн? — спросила мама.

И тогда я рассказала.

И тогда меня отправили к бабушке с дедушкой.

И тогда Ферн услали прочь из дома.

7

В комнате для допросов воспоминание это прошлось по мне мощным катком. Всего я тогда не вспомнила, по крайней мере не так, как рассказала здесь. Но вспомнила достаточно, и странным образом, как только оно ушло, я перестала дрожать и плакать. Мне не было холодно, не хотелось есть или адвоката, или в туалет, или сэндвич. Появилось ощущение полнейшей ясности. Я выбралась из прошлого. Я была здесь и сейчас. Я была собранна и сосредоточенна. Я была нужна Лоуэллу. Остальное могло подождать.

Я хотела говорить.

Подняла с пола мокрицу, она свернулась в тугое, идеальной формы колечко, прямо-таки произведение Энди Голдсуорти. Положила на стол, рядом с тарелкой с недоеденным сэндвичем, прикинув, что все же когда-нибудь отсюда выйду, а Лоуэллу бы не понравилось, оставь я здесь букашку. Двойные очки за насекомых. Эта комната не для жизни.

Я решила придерживаться проверенной версии — бабушка с дедушкой и их мыльные оперы, батут и мужчина в голубом домике, женщина, связанная по рукам и ногам, как индюшка, —

только изложить все словами поумнее. Мимесис, диегезис, гиподиегезис… Не просто рассказать, но и прокомментировать. Критически препарировать. И все это я выстрою так, чтобы они каждую минуту думали, что я вот-вот отвечу на заданный вопрос, вот-вот доберусь до сути. Я намеревалась сыграть в умышленные поддавки.

Я такого повидала, будь здоров. Лоуэлл подростком был магистром джедаев по этой части.

Но полицейский, который начал допрос, так и не вернулся. Бац! Как черт, пропал с концами.

Вместо него появилась широкобедрая женщина без бумаг и сообщила, что я могу идти, а неумолимое зло с такими поручениями не отправляют. Я последовала за ней по коридору и вышла в ночь. Увидела огоньки самолета, идущего на посадку в аэропорту Сакраменто. Присела и положила на траву мокрицу. В комнате для допросов я провела почти восемь часов.

Кимми, Тодд и мать Тодда ждали меня. От них-то я и узнала, что Лоуэлла не поймали.

Поймали кое-кого другого.

Накануне вечером, когда в честь окончания четверти я рано улеглась спать, Эзра Мецгер попытался проникнуть в Центр изучения приматов при Калифорнийском университете в Дэвисе.

Его арестовали прямо на месте с набором разнообразных инструментов для взлома замков, разрезания проводов, переподключения электрических сигналов. Все они висели у него на поясе, а то и попросту были в руках. Он сумел открыть восемь клеток, прежде чем его схватили. Позднее в газете анонимный сотрудник университета рассказывал, что обезьяны были крайне травмированы этим вторжением. Они орали благим матом, сообщал неназванный источник, и пришлось дать им успокоительное. Самым печальным в новости было вот что: большинство обезьян отказались выходить из клеток.

Соучастницу акции пока не поймали. Она скрылась на его машине, иначе Эзра тоже мог бы сбежать.

Нет, однозначно нет. Последнее утверждение было несправедливо.

В 1966 году Калифорнийский университет в Дэвисе открыл Центр сравнительной медицины. Он задумывался как мостик между медицинской и ветеринарной школами, возможность объединить все исследования в области инфекционных заболеваний, которые проводились с использованием животных. Центр изучения приматов был важнейшей частью проекта. С момента

основания там занимались профилактикой и контролем заболеваний, главным образом чумы, свиного гриппа, куру и разными болезнями, передающимися от животного человеку, как, например, вирус Марбург. Все еще на слуху были два недавних случая, когда вирусом Марбург заразились двое сотрудников лаборатории из Советского Союза. Бестселлер Ричарда Престона "Опасная зона" не выходил у нас из головы.

Ничего этого даже близко не упоминалось в газетах. Только на предварительных слушаниях прозвучало вскользь, что мы имеем дело не просто с хулиганской выходкой, а Эзра мог выпустить на свет божий куда больше, чем подозревал.

Семь лет спустя, в 2003 году, заявка университета на лабораторию с высокой степенью биозащиты, в которой предполагалось искусственно инфицировать обезьян сибирской язвой, оспой и Эболой, была отклонена, когда самка макаки-резуса сбежала во время мытья клетки. Ее так и не нашли. Вышла сухой из воды.

Сегодня Центр изучения приматов в Дэвисе особенно отмечают за успехи в понимании и лечении свиного гриппа, аутизма, болезней Альцгеймера и Паркинсона. Само собой, это непростые проблемы.

От тюрьмы меня спасли четыре вещи.

Первая. Тодд и Кимми поручились за мое местонахождение накануне ночью. Я рано ушла спать, сообщили они полиции, но они продолжали отмечать конец четверти в самом что ни на есть рождественском настроении за просмотром старых фильмов. Взяли напрокат “Психо”, “Ночь живых мертвецов”, “Плетеного человека”, “Кэрри” и “Чудо на 34-й улице”. Смотрели в этом порядке, большей частью на диване в гостиной, с короткими вылазками на кухню за попкорном. Я никоим образом не могла уйти из квартиры незамеченной. Разве что я на самом деле Человек-Паук, так Кимми, по ее словам, заявила в полиции.

— Я сказал Тарзан, — вставил Тодд. — Но Человек-Паук даже лучше.

Или Ферн, подумала я, но говорить не стала, хотя подозревала, теперь уже все о ней знают. Этот вывод был основан на ложном убеждении. Я недооценила умение полиции держать язык за зубами.

Вообще-то я не думаю, что кого-то сильно впечатлила вещь Первая. Как только в полиции связали меня с Лоуэллом, у них отпали все сомнения, кто же та самая сообщница. Мы все на-

верняка члены одной террористической ячейки, решили они, и, конечно, будем покрывать друг друга. Они уже какое-то время следили за нашим домом. И им очень не нравилась компания, проживающая на третьем этаже.

Вторая. Мать Тодда. Какой-то раздолбай разрешил Тодду сделать звонок перед допросом. Мать Тодда была в Сан-Франциско известным адвокатом по гражданским правам; наверное, стоило раньше об этом упомянуть. Представьте себе Уильяма Кунстлера, только не такого обаятельного. Представьте себе Уильяма Кунстлера в образе миниатюрной нисэи[18]. Она прилетела на вертолете и, пригрозив последствиями, вместе с Тоддом и Кимми великодушно помянула и меня тоже. Когда я наконец вышла, она поджидала меня в роскошной взятой напрокат машине, чтобы отвезти нас всех на ужин.

Третья. Харлоу. Не сама Харлоу — никто не знал, где она, а Тодд и Кимми, заявившие, что не сомневаются: женщина, которую ищет полиция, это Харлоу Филдинг. Полиция отправилась к Реджу, но Редж сказал, что ничего не знает, ничего не видел, ничего не слышал, но это очень в

---

[18] Примечания: 18

Буквально “второе поколение” *(яп.).* Так в Америке называют родившихся там японцев.

духе Харлоу — так обработать парня, что он из-за нее отправился за решетку.

На Розмари это не похоже, добавил Редж, что, конечно, очень мило с его стороны. Думаю даже, он и правда в это верил. Он же не знал, что из-за меня Ферн годы провела за решеткой.

Эзра тоже сказал полиции, что это Харлоу. Интересно, героем какого фильма он представлял себя в этот момент? "Хладнокровный Люк"? "Побег из Шоушенка?" "Эрнест идет в тюрьму"? Я поразилась, как быстро и легко он сдал Харлоу, но мне не приходило в голову, что сделал он это ради меня, как позже предположил Тодд. Я уж точно не нравилась Эзре больше, чем Харлоу. Но он был благородным парнем. И если это было в его силах, он бы не дал арестовать меня за то, чего я, как он знал, не совершала.

Четвертая. То, что в полиции не читали мое экзаменационное эссе о религии и насилии.

Мать Тодда повезла нас на ужин не в Дэвис, там не было ничего достаточно шикарного, а в старую часть Сакраменто, с мощеными улочками и деревянными тротуарами. Мы ели в ресторане "Файер-хаус", где мать Тодда уговаривала меня взять лобстера, чтобы отметить счастливое спа-

сение, но для этого надо было выбрать живого из аквариума, так что я отказалась. На тарелке он бы мне напоминал очень крупную мокрицу.

Она сказала, что я, конечно же, могу лететь домой на следующий день, хотя и обещала полиции не покидать города. Так я и сделала.

И сто раз ее поблагодарила.

— Не стоит, — ответила она. — Друг Тодда…

— Ты же поняла, что все это бред собачий? — поинтересовался Тодд позднее, и на секунду я решила, что бред собачий относился к нашей дружбе.

Но нет, Тодд просто имел в виду, что его мать любила давить своим авторитетом, а в чью пользу, ее ничуть не заботило. Я понимала, что в матери это могло быть не самой прекрасной чертой, но сегодня явно не тот случай. Я считала, есть время жаловаться на родителей, а есть время быть им благодарными, и не стоит смешивать одно с другим. И положила себе на ум не забывать об этом в собственной жизни, но, как оно всегда и бывает, забыла.

Спустя несколько недель я спросила Тодда, друзья ли мы.

— Рози! Мы дружим уже много лет, — сказал он, явно сильно задетый.

Большой черный автомобиль доставил нас домой и уплыл вместе с матерью Тодда в звездную ночь. Третий этаж уже гудел вовсю. Гремела оглушительная музыка; неизбежно пришлось бы вызывать полицию. Разодранные в мелкие клочки конспекты лекций, словно конфетти, падали во двор.

Рабочее кресло постигла та же судьба, оно лежало посреди тротуара, и колесики еще продолжали крутиться. Мы вошли в подъезд под градом наполненных водой презервативов. Вот что значит жить в плохо управляемом многоквартирном доме. Придется привыкать.

Мы сели за стол, островок печали в океане безудержного веселья. Выпили зюдверкского пива Тодда и покачали головой по поводу Эзры, который как-то собирался податься в ЦРУ, но не сумел в своей первой (по нашим сведениям) спецоперации освободить ни одной обезьяны. Никто не ввернул Ферн, и я поняла, что они по-прежнему не знают. Но они знали про Лоуэлла и не на шутку возбудились, что принимали в квартире такого опасного человека. Я тоже их впечатлила — целая отдельная тайная жизнь. Оказалось, копать не перекопать, кто бы мог подумать?!

Тодд извинился за то, что назвал Лоуэлла мари-

онеткой в руках Харлоу, когда верно было ровно обратное.

— Скорее всего, твой брат ее завербовал, — сказал он. — И теперь она член ячейки.

Мне это в голову не приходило, и такое предположение совсем не радовало. В любом случае, маловероятно. Слишком убедительными были сердечные страдания Харлоу. Я не раз видела Харлоу в образе. Видела и без. Я знала разницу.

А потом мы все заново смотрели “Чудо на 34-й улице”, и Тодд с Кимми признались, что вообще-то большую его часть проспали и несколько других фильмов тоже, так что я сто раз могла прийти и уйти незамеченной.

“Чудо на 34-й улице” оказался очень проадвокатским фильмом. И совсем не таким милым по отношению к психологам.

Даже если Лоуэлл и не подбил Харлоу, все равно она сделала это из-за него. Мы и правда опасное семейство, но не в том смысле, как думает Тодд. Харлоу явно пыталась найти Лоуэлла по единственному доступному ей следу, по оставленным им маячкам. Интересно, чем это закончилось. Я бы против нее не ставила.

Вообще-то Харлоу не его типаж; ей просто нравилось изображать, что оно так. Если ей нужен

Лоуэлл, придется спуститься на землю. Никаких театральных отделений и смотрите-все-на-меня фигни. Но мне подумалось, она бы смогла. Подумалось, что, быть может, они даже были бы счастливы вместе.

Той ночью, зайдя в свою комнату, я уловила легкий ванильный аромат духов Харлоу. Я направилась прямиком к небесно-голубому чемодану. Разумеется, мадам Дефарж в нем не было.

Часть шестая

Я вскоре понял, что для меня существуют две возможности: зоологический сад или варьете. Я не колебался ни секунды. Я сказал себе так:
“Надо приложить все силы, чтобы попасть в варьете, это единственный выход; зоологический сад – не что иное, как новая клетка. Попадешь в нее – и ты погиб”.

Франц Кафка
“Отчет для академии”

1

Впервые годы после Ферн мы взяли за правило куда-нибудь отправляться на Рождество. Дважды побывали в Йосемити, раз в Пуэрто-Вальярте, раз в Ванкувере. Как-то доехали аж до Лондона, где я впервые попробовала копченую рыбу, в другой раз — до Рима, где родители купили у Колизея маленькую камею с лицом девушки, потому что продавец сказал, что она на меня похожа и мы обе *bellissima.* А когда вернулись, профессор Ремак,

преподававший немецкую литературу в Университете Индианы, но обладавший скрытыми талантами, вставил камею в кольцо, и я чувствовала себя *bellissima* всякий раз, как его надевала.

Мы не были религиозными, так что в этом смысле Рождество никогда не отмечали. А после Лоуэлла и вовсе перестали.

Когда я наконец прилетела в Блумингтон под невеселый конец 1996-го, о празднике напоминал лишь маленький куст розмарина в горшке, подстриженный в форме елки. Он стоял на столике у входной двери и благоухал на всю прихожую. Ни хвойных венков на доме, ни украшений на розмарине. Я решила отложить разговор о Лоуэлле на после Рождества. Вокруг ни намека на веселье, значит, день этот все еще слишком болезненный, и мама пока еще не окрепла.

В тот год не было снега. Двадцать пятого числа мы отправились в Индианаполис отужинать с бабушкой и дедушкой Куками. Трапеза как всегда была мокрой. Клеклое картофельное пюре, раскисшая зеленая фасоль. На тарелках высились горы еды, совершенно не распознаваемой под реками мясной подливки. Отец пил как сапожник.

Помнится, в тот год он поднимал бокал за регбистов индианаполисской “Колтс”, которых

“Ассошиэйтед пресс” отобрало в Команду лучших игроков. Обычно Индианаполис такой чести не удостаивался. Папа пытался вовлечь в разговор и своего отца, но дедушка Джо прямо за столом заснул на полуслове, будто сраженный волшебным заклинанием. Теперь уже понятно, что наступал неумолимый Альцгеймер, но тогда мы этого еще не знали и лишь добродушно посмеивались.

У меня начались месячные, в животе тянуло, поэтому я пошла прилечь в комнате, где спала летом, когда мы остались без Ферн. Само собой, я не сказала, что истекаю кровью, но выразилась так уклончиво и благопристойно, что дедушка Джо вообще ничего не понял и бабушка Фредерика шепотом объяснила ему на ухо.

На стене по-прежнему висел постер с арлекином, но у кровати был новый каркас: четыре столбика и изголовье из кованого железа с узором из листьев плюща. Бабушка Фредерика была в процессе перехода от псевдокитайского стиля к бескомпромиссному провансу.

В этой комнате я провела долгие недели, думая, что я та самая сестра, изо рта которой сыпались змеи да жабы, та, которую бросили умирать в горе и одиночестве. В этой комнате я поняла, что Лоуэлл рассказал всем, что я законченная врунья,

а поскольку Лоуэлл ни разу ни в чем не солгал, все поверили ему. В этой комнате я была злом, отравившим радость жизни Ферн.

Та история с Ферн и котенком была ужасна. Если я ее выдумала, мне и правда нет прощения.

Так все-таки выдумала?

Я отвернула к стене ночник и легла лицом к окну. В доме соседей через улицу рождественские огоньки сосульками стекали по карнизу, отбрасывая мягкий свет в мою комнату. Я думала об Эбби, девочке из общежития, рассказавшей как-то ночью о сестре, которая обвинила отца в надругательстве, а потом передумала и заявила, что ей это только приснилось.

— И вот эта чокнутая сестра берет и все на корню рушит, — отрезала Эбби. — Ненавижу ее.

И Лоуэлл:

— Скажешь кому, навсегда тебя возненавижу.

Тем вечером в общежитии мне показалось, что это вполне справедливо. Вполне справедливо возненавидеть за такую чудовищную ложь.

И вполне справедливо, что Лоуэлл возненавидел меня. Я обещала молчать и нарушила обещание. Но меня же предупреждали.

Наша верхняя одежда была свалена на покрывале. Я вытащила мамину парку и укрыла ноги.

Когда я была маленькой, мама душилась туалетной водой “Флорида уотер”. Духи, которыми она пользовалась теперь, были такими же чужими, как и дом-образец, в котором теперь жили родители. Но комната пахла точно так же — лежалым печеньем. Даже затхлости не прибавилось.

Мы привыкли считать, что воспоминания быстрее возвращаются к нам там, откуда они родом. Как и прочее, что, как нам думается, мы знаем, сегодня это уже не так очевидно.

Но пока на дворе 1966-й. Заглянем мне в голову, когда я представляю, что мне снова пять, и пытаюсь почувствовать то же, что чувствовала в конце очередного дня в изгнании, ложась на эту самую кровать в этой самой комнате.

Первым пришло чувство вины за то, что не сдержала обещание. Вторым — отчаяние оттого, что навсегда утратила любовь Лоуэлла. Третьим — отчаяние оттого, что меня отослали прочь.

Больше вины. Я забрала котенка у плачущей матери и отдала его Ферн. И еще больше, потому что в рассказе я опустила ту часть, когда, жалуясь на Ферн, преподнесла все так, будто она действовала в одиночку. Почти все и всегда мы затевали вместе и, как правило, отвечали за все тоже вдвоем. Это было вопросом чести.

Но потом меня охватило бешенство. Может, я тоже виновата, но котенка-то не я убила. Это все Ферн. Нечестно вот так мне не поверить, наказать больше всех. Дети, точно шимпанзе, чувствительны к несправедливости, особенно по отношению к себе.

Ну, может, и не сказала я всей правды. Но я бы не испытывала такой жгучей обиды, если бы солгала.

Я лежала на кровати, закутав ноги маминым пальто, и под тихий звон моющейся посуды, под споры о спорте и обычные для праздников нападки бабушки Фредерики и мамы на папу из-за выпивки, под рождественские гимны молодого стройного Фрэнка Синатры из телевизора, я заставила себя заново прокрутить в голове жуткое воспоминание от и до. Я пыталась нащупать какие-то зазоры в картинке; я наблюдала за наблюдающей собой. И тут произошло нечто поразительное. Я вдруг поняла, что знаю, кто я.

Несмотря на то самое вытесненное воспоминание, еще достаточно яркое в моем сознании, чтобы с эффективностью и прицельной точностью математического доказательства ниспровергнуть идею памяти как таковой; несмотря на все исследования, утверждающие, что личность не

важна при выборе поступка, и на возможность того, что я, с вашей точки зрения, всего лишь безмозглый робот, которым управляют посторонние кукловоды, я со всей ясностью поняла, что не придумала того котенка. Поняла, потому что человек, которым я была, человек, которым я всегда была, *этот* человек никогда бы *такого* не сделал.

И тогда я заснула. В старые добрые времена родители тихонько отнесли бы меня в машину, привезли в Блумингтон и уложили в моей комнате, ни разу не разбудив. Случись рождественское чудо, наутро, открыв глаза, я очутилась бы дома, и Лоуэлл с Ферн вместе со мной.

Я в тот же вечер собиралась рассказать родителям про Лоуэлла. После всех этих мучительных самокопаний настроение было вполне подходящее, а долгая поездка в машине не хуже исповеди — так мне во всяком случае кажется, сама-то я никогда не исповедовалась — годится для неприятных разговоров. Но отец был пьян. Он откинулся на сиденье и заснул.

Не помню, почему не сложилось на следующий день, скорее всего, из-за настроения матери, ну а потом пришли оценки из колледжа, и тут-то переключить внимание было бы как нельзя кста-

ти, но все же неправильно. Так что рассказала я только за пару дней до отъезда. Мы сидели за завтраком, и солнце лилось через стеклянные двери, выходившие на заднюю веранду. Деревья росли там плотной стеной, и солнце редко попадало в комнату. И когда такое случалось, мы своего не упускали. Из животных наблюдалась только стайка благовоспитанных воробьев у кормушки.

Вы уже знаете о приезде Лоуэлла, так что, вместо того, чтобы повторять все заново, скажу вам, что я тогда опустила: Харлоу, Эзру, Центр изучения приматов, два раза в участке, наркотики, пьянство и вандализм. Это все родителям неинтересно, сочла я. И начала свое повествование с середины, и закончила там же. Ограничилась в основном посиделками в “Бэйкерз сквер” и долгой ночью за разговорами и пирогом.

Зато ее я описала весьма подробно. Не утаила ни моей озабоченности психическим состоянием Лоуэлла, ни его замечаний по поводу папиной статьи и ужасных вещей, которые мы творим с животными. Тяжелый для отца разговор. Добравшись до Ферн, я не преминула отметить, что ни сейчас, ни прежде она не была ни на какой ферме, что наш дом она сменила на полную страданий жизнь за решеткой. Не помню точно, в каких

именно словах я все это изложила, но отец обвинил меня в излишнем смаковании темы. “Тебе было пять лет, — возмутился он. — Что же я *должен* был сказать?”, как будто самым страшным преступлением во всем этом была придуманная для меня легенда.

Родителей совершенно убило известие, что Лоуэлл жалеет об учебе в колледже. То, что он хотел повидать их, было бы уже чересчур, это пришлось отложить на вечер. Все за столом в слезах. Мать без конца рвала на кусочки свою салфетку и теперь клочками побольше вытирала глаза и нос.

На удивление, меня тоже удивили; я-то думала, что у меня главные новости. Но самое поразительное, что родители уверяли, будто из-за меня они и не говорили о Ферн, будто именно я не могла этого вынести. По их словам, я начинала задыхаться при одном упоминании ее имени, расцарапывала себя до крови, выдирала волосы. В этом у них было полное согласие: все годы я неизменно пресекала многочисленные попытки поговорить о Ферн.

Тот ужин, когда Лоуэлл сказал, что Ферн любила вареную кукурузу, а еще нас, тот ужин, когда он ушел из дома, потому что мама была еще не

готова говорить о Ферн, — родители запомнили его совсем иначе. По их словам, это я разрыдалась и велела всем замолчать. Сказала, что они разрывают мне сердце, и потом просто бессвязно, истерично и весьма результативно вопила. И тогда наконец все умолкли, а Лоуэлл ушел из дома.

Это утверждение противоречит многим моим воспоминаниям. Я передаю его, потому что оно есть, *res ipsa loquitur* (факты говорят сами за себя), а не потому, что меня убедили.

Несмотря на якобы случившуюся истерику, родителей явно удивило, как велико мое чувство вины из-за изгнания Ферн. История, конечно, тяжелая, и все же от детей обычно не отказываются, если они убили животное. Ферн отослали не из-за котенка. Были бы новые проблемы, как и говорил Лоуэлл, и пришлось бы следить и защищать от нее маленьких, слабых созданий, и это был бы конец.

Но оказывается, были и другие случаи, о которых, клялись родители, я знала и даже видела собственными глазами, только я совсем ничего не помню. Тетя Виви утверждала, что Ферн наклонилась к коляске моего кузена Питера и схватила ртом его ухо. Тетя Виви заявила, пока там живет эта зверюга, ноги ее не будет в нашем доме, что

расстроило мать, зато очень порадовало отца.

Одного аспиранта она сильно покусала за руку. Он в тот момент держал апельсин, и есть вероятность, что Ферн хотела съесть апельсин. Но укусы были такие серьезные, что пришлось сделать две операции, и университету был предъявлен иск. А Ферн всегда недолюбливала этого парня.

Однажды она с размаху швырнула о стену свою обожаемую аспирантку Эми. Совершенно непонятно, почему вдруг, да и Эми уверяла, что это просто случайность, но другим студентам это не показалось игрой или оплошностью, правда, агрессивного поведения за Ферн они тоже не признали. В результате Шери, которая видела, как все произошло, покинула программу, а Эми осталась.

Ферн тогда еще была малышкой, и очень милой и покладистой. Но она росла. И постепенно делалась неуправляемой.

— Было безответственно дожидаться, пока произойдет что-то совсем серьезное, — сказал отец. — Это бы ничем хорошим не кончилось ни для Ферн, ни для кого другого. Если бы она по-настоящему кого-то покалечила, университету пришлось бы ее усыпить. Мы пытались сделать как лучше для всех. Солнышко, у нас не было

выбора.

— Это не из-за тебя, — добавила мама. — И никогда не было из-за тебя.

И снова не слишком убедительно. Мы продолжали разговаривать все последние дни до отъезда, и я обнаружила, что, стоило мне снять с себя обвинения за одну ложь, как я тут же приписала себе другую. Да, я рассказала матери, что Ферн убила котенка, и это не было ложью, и отослали ее по другим причинам, и можно больше не угрызаться за то, что я это рассказала.

Но я не унималась. Я никогда не думала, что Ферн может намеренно причинить мне боль. Никогда не замечала за ней ничего подобного, не больше, чем за Лоуэллом или родителями. Но ее равнодушие, то, как безразлично она глядела на мертвого котенка, а потом пальцами разорвала его живот, потрясло меня до глубины души. Так вот что мне надо было рассказать маме; вот что я имела в виду.

В Ферн было нечто, чего я не знала.

Оказалось, я не знаю ее так, как думала.

У Ферн были свои секреты, и не лучшего толка.

Вместо этого я сказала, что боюсь ее.

И из-за этой лжи ее отослали прочь. В этот самый момент я вынудила родителей сделать

выбор.

2

В жизни каждого есть люди, которые остаются, и люди, которые уходят, и люди, которых забирают против их воли.

Мать Тодда добилась для Эзры выгодного соглашения. Суд не согласился с тем, что открыть и закрыть дверь — одно и то же. Эзра признал вину и получил восемь месяцев в тюрьме общего режима города Вальехо. Мать Тодда заметила, что могло быть и пять, если бы он вел себя как следует. Это стоило ему любимой работы. Стоило шанса попасть в ЦРУ (а может, и нет, откуда мне знать? Может, ровно этой строчки в резюме им и не хватает). С тех пор ни один из моих домоуправов не вкладывал душу в работу так, как Эзра.

— Секрет хорошей жизни, — как-то раз поделился он со мной, — делать все по первому разряду. Даже если вся твоя работа — выносить мусор, делай это на совесть.

Я приехала к нему в день для посещений — дело было после Рождества, — то есть прошел месяц после суда. Его, одетого в оранжевый комбинезон, вывели к точке, где нам разрешалось сесть друг против друга за штуковиной, которую в другом

антураже я бы назвала столом для пикников. Наказали не касаться друг друга и оставили одних. Эзра был без усов, верхняя губа такая голая, будто волосы содрали, как пластырь. Лицо казалось беззащитным, зубы слишком крупными, как у зайца. Было видно, что он совсем приуныл. Я спросила, как он.

— Теперь совсем не то, что раньше, — заметил он, и это утешало. Старый добрый Эзра. Старое доброе “Криминальное чтиво”.

Он спросил, слыхать ли чего от Харлоу.

— Приезжали ее родители из Фресно, искали ее. Но безрезультатно. Никто ее не видел.

3

После того как я доложила Лоуэллу, что Харлоу никогда не рассказывала о своей семье, она выдала следующую информацию: трое младших братьев, две старшие сестры. Наполовину родные, если уж совсем точно.

И добавила, что мать из тех женщин, которым нравилось быть беременными, а вот долгие отношения — не очень. Девчонка-хиппи, эдакая богиня плодородия. Все братья-сестры Харлоу были от разных отцов, но все жили с матерью в доме-развалюхе на окраине города. Еще до двух

последних детей места хватать перестало, так что пара отцов обустроили подвал под спальни, где все они и жили вполне питерпэновской жизнью, без особого присмотра. Харлоу уже невесть сколько лет не видела своего отца, но у него была маленькая театральная компания в Грасс-Вэлли, и он, конечно, устроит ее на работу после колледжа, никаких проблем. Он ее главный козырь в рукаве, говорила Харлоу.

Меня поразило, как похож подвал Харлоу на дом на дереве из моих детских фантазий, разве что надо было спуститься, чтобы попасть в ее Нетинебудет. (А это принципиальная разница — недавние исследования показали, что люди становятся более отзывчивыми, если они только что поднимались, чем если спускались, — хотя эти исследования могут с тем же успехом быть полной лажей. Я всего лишь хочу сказать, бывает наука и наука. Когда изучают людей — это по большей части не наука.)

У подвала с домом на дереве было еще кое-что общее: и то, и другое было выдумкой.

Выяснилось, что Харлоу была единственным ребенком. Ее отец снимал показания газовых счетчиков для компании “Пасифик газ энд электрик”. Работа, может, и не эффектная, но на

удивление опасная — из-за собак. Мать работала в библиотеке. Когда я стану управлять миром, библиотекарей освободят от больших трагедий. Даже их мелкие печали будут длиться не дольше, чем нужно, чтобы достать книжку.

Родители были оба высокие, но сутулые, совершенно одинаково согнутые, будто им только что врезали. Волосы у матери были как у Харлоу, только стрижка короткая и без затей. На шее шелковый шарф, под ним — длинная серебряная цепочка с подвеской в виде египетского картуша. Мне удалось рассмотреть иероглиф птицы. Я думала о том, как тщательно она одевалась, чтобы прийти и поговорить с полицией, встретиться со мной, с Реджем. Представляла, как она замерла перед шкафом, раздумывая, что же надевают, когда предстоит узнать о своем ребенке то, что может разбить сердце. Она напомнила мою собственную мать, хотя общего у них было только разбитое сердце.

Родители Харлоу боялись, что ее похитили и бог знает что еще могло произойти, потому что совсем на нее не похоже не позвонить, когда они волнуются, и она это знает. Едва живые от ужаса, что она могла быть мертва. Они пытались донести это до меня, не произнося вслух. Наме-

кали, что Эзра мог обвинить ее, подстроить всю историю с Центром изучения приматов, чтобы покрыть куда более темные делишки. Она бы никогда, никогда не пропустила Рождество, говорили они. Ее носок с подарками все еще висит над камином и будет висеть там, пока она не вернется домой.

Они упросили меня встретиться где-нибудь, чтобы поговорить, так что мы оказались в “Мишке” и пили кофе в полной тиши первых дней зимней четверти, чуть ли не одни на все кафе. Спокойствие нарушало только жужжание кофемолки.

Во всяком случае я пила. Их кофе стоял нетронутым и только остывал.

Я сказала, что Харлоу, конечно же, жива, что она, собственно, побывала у нас в квартире на следующий день после своей авантюры и кое-что забрала. Сама я ее не видела, но у меня есть доказательства, сообщила я, она оставила мне явные доказательства, а большего я не знаю. У матери Харлоу вырвался некий звук — что-то среднее между резким вздохом и воплем — непроизвольно, но громко и пронзительно. Потом она разрыдалась и схватила меня за руки, опрокинув чашки.

Ей досталось больше всех. Думаю, ее чудесную блузку уже не спасти.

— Но это так на нее не похоже, — все повторял отец, пока мы вытирали стол. — Вломиться куда-то. Взять вещи — полагаю, он это об обезьянах, потому что о мадам Дефарж я смолчала, — взять чужие вещи.

Я недоумевала: мы вообще об одном и том же человеке толкуем? Именно что на Харлоу это и похоже.

Но родителей обмануть легче легкого; они видят только то, что хотят видеть. Что-то я пересказала Эзре. Ему было так плохо, что не больно-то интересно. К моему удивлению, потребность коснуться его — которой я никогда прежде не испытывала и, скорее всего, сейчас испытала только потому, что это было запрещено, — переполняла меня. Хотелось погладить его по руке, потрепать по волосам, немного расшевелить. Я села на руки, чтобы удержаться.

— И куда, по-твоему, отправились бы обезьяны? — спросила я.

— Да куда им заблагорассудится, черт подери.

После того как мы распрощались с Лоуэллом на дэвисском вокзале, не было смысла и дальше торчать здесь, продолжать учебу в колледже.

Мне надо было позаботиться о сестре. Пора было взяться за дело всерьез.

Я ждала первого отчета о Ферн, но он так и не пришел. Что бы там ни устроил Лоуэлл, оно не сложилось. Я покуда изучила все доступные книжки о девочках-обезьянках — Джейн Гудолл (шимпанзе), Дайан Фосси (гориллы) и Бируте Галдикас (орангутаны).

После выпуска подумывала отправиться в Национальный парк Гомбе-Стрим наблюдать за жизнью шимпанзе из клана Касакела. Надеялась с моим опытом внести свою лепту в тамошнюю работу, извлечь наконец хоть какую-то пользу из папиного эксперимента. Вот для такой жизни я и рождена, думала я. Конечно, это больше походило на баюкавшие меня мечты о домике на дереве. Но, может, там я окажусь наконец на своем месте. Тарзан в джунглях. Эта мысль приводила меня в восторг.

С неба на землю. Я вспомнила сто семьдесят изнасилований за три дня из лекции доктора Сосы. Какой-то ученый за этим наблюдал, то есть буквально смотрел, как шимпанзе насилуют сто семьдесят раз, вел подсчет. Прекрасный ученый. Но меня увольте.

Кроме того, поскольку я на протяжении всей

учебы столь усердно уклонялась от изучения приматов, эта карьерная стезя означала бы возвращение в колледж.

Да и как бы это помогло Ферн?

Я вспомнила, как Китч, бывшая девушка Лоуэлла, однажды сказала, что из меня выйдет отличная учительница. Я тогда решила, что она это просто из вежливости, ну и потому, что чокнулась, на всю голову чокнулась, как и все, кто слишком долго прожил в женском обществе, — но проведя пару часов с университетским справочником в одной руке и с зачеткой в другой, смекнула, что скорейший путь довести дело до конца, факультет, который зачтет большую часть прослушанных занятий, — как раз преподавательский. Разумеется, придется защитить диплом. Но я не видела других шансов получить специальность до наступления конца света по календарю майя.

Как-то той весной я наткнулась в библиотеке на Реджа, и он предложил сходить вместе на ломающего гендерные каноны “Макбета”. У него было два билета благодаря какому-то приятелю Харлоу.

Мы встретились ближе к вечеру в корпусе Театрального искусства. (Через месяц его пере-

именуют в Зал Селесты Тернер Райт, и он станет одним из трех зданий на территории кампуса, названных в честь женщины. Мы, женщины города Дэвиса, благодарим тебя, Селеста.) Погода была чудесной, и в дендрарии за театром вовсю цвели кусты багряника и смородины. От подножия холма доносилась ленивая перепалка диких уток.

Пьесу поставили в традиционном кровавом духе, ни одну из идей Харлоу в ход не пустили. Что обидно. Спектакль неплохой, но было бы куда интереснее, если бы они прислушались к Харлоу. Редж по-прежнему настаивал на своем исключительно оригинальном соображении, что нет ничего забавнее мужчины в платье.

Я сочла это возмутительным, оскорбительным по отношению к женщинам и трансвеститам во всем мире. Сказала, что он, похоже, один такой придурок, полагающий, что “Макбет” играют на потеху публики.

Он весело отмахнулся.

— Когда парень приглашает девушку на феминистский спектакль, — заявил Редж, — он знает, на что идет. Знает, что вечер закончится ссорой.

Он поинтересовался, не начались ли у меня месячные, и это тоже показалось ему чертовски забавным.

Мы как раз шли к его машине. Я резко развернулась. Лучше пройдусь, сказала я. Одна. Вот кретин. Уже на полпути к дому меня осенило. “Когда парень приглашает девушку..” Я не поняла, что это было свидание.

На следующий день он перезвонил и снова позвал встретиться. Мы продержались пять месяцев. По сегодняшний день, а мне почти сорок, это так и осталось моим рекордом. Мне очень нравился Редж, но мы так и не съехались. Мы постоянно ругались. Вышло не так спокойно, как я рассчитывала.

— Думаю, у нас ничего не получится, — сказал он мне как-то вечером.

Мы сидели в машине у моего дома и ждали, когда уедет полиция. Они штрафовали третий этаж за шум и прочие нарушения.

— Почему? — спросила я из чисто научного интереса.

— Ты крутая. И очень красивая девушка. Не заставляй меня произносить это вслух.

Так что я толком и не знаю, почему мы расстались.

Может, дело в нем. Может, во мне. Может, то призрак Харлоу тряс подле нас окровавленными кудрями. *Ступай отсюда! Скройся, мертвый*

призрак![19]

Разговор вовсе не был таким болезненным, как может показаться в пересказе. Я всегда тепло вспоминаю Реджа. Тогда я считала, что расставание пошло от меня, хотя он и заговорил первым. Однако ж позже дошли слухи, что он встречается с мужчиной, так что, может, я поспешила с выводами.

Несомненно одно — похоже, у меня не складывается с сексом на долгой дистанции. И не потому, что не стараюсь. Не заставляйте меня произносить это вслух.

Интересно, а про меня Лоуэлл сказал бы, что наше детство крепко пригасило мою сексуальность? Или у всех вас тоже не складывается с сексом на долгой дистанции?

Может показаться, что складывается, но это не так. Может, анозогнозия, неспособность признать за собой болезнь, заложена в природе человека, и я единственная, кто ей не страдает.

Мама говорит, я просто пока не встретила правильного парня, того, кто увидит звезды в моих глазах.

Что ж, верно. Все еще жду этой встречи.

---

[19] Примечания: 19

“Макбет”, III акт, сцена 4-я (перевод Б. Пастернака).

Человек, увидевший звезды в глазах моей матери, умер в 1998 году. Папа устроил себе неделю кемпинга, рыбалки, каякинга и самосозерцания на реке Уобаш. Спустя два дня, перетаскивая каяк по камням, он перенес инфаркт, который принял за грипп. Он добрался до дома, лег в кровать, и на следующий день случился второй инфаркт, а ночью, уже в больнице, третий.

Когда я приехала, он снова был на свободе, взбирался на гору своих грез в каких-то неведомых краях. Нам с мамой пришлось постараться, чтобы втолковать ему, что я здесь, но не уверена, что он меня признал.

— Я очень устал, — сказал он. — Можешь взять мой рюкзак? Совсем ненадолго.

Ему явно было неловко.

— Конечно, пап, — ответила я. — Конечно. Вот, беру. Понесу, сколько потребуется.

Это последнее, что я ему сказала и что, я знаю, он услышал.

Похоже, наверное, на киношную сцену у смертного одра — чистую, классическую, проникновенную и значительную. Но в реальности папа прожил еще один день, и не было там никакой чистоты. А были кровь, дерьмо, слизь, стоны и долгие часы громкой, мучительной борьбы за

кислород. Врачи и сестры носились туда-обратно, и нас с мамой то пускали в палату, то выгоняли.

Помню аквариум в приемной. Помню рыб с прозрачной чешуей, у которых было видно бьющееся сердце. Помню улитку, ползшую по краю, ее рот бесконечно открывался и сжимался. Вышел врач, и мать поднялась ему навстречу. “Боюсь, на этот раз мы его потеряли”, — произнес он, как будто ожидался еще и следующий раз.

В следующий раз между мной и отцом все будет иначе.

В следующий раз мама честно разделит вину за Ферн, чего не случилось из-за ее срыва. В следующий раз я не взвалю все бремя ответственности только на папу.

В следующий раз я и на себя возьму, что мне полагается, ни больше, ни меньше. В следующий раз я буду помалкивать о Ферн, но не о Лоуэлле. Я расскажу маме с папой, как Лоуэлл прогулял баскетбольную тренировку, они проведут с ним беседу, и он не сбежит из дома.

Я всегда собиралась когда-нибудь простить папу. Это многого его лишило, но только не меня, и я должна была ему это сказать. Горько и глупо, что так и не сделала.

Поэтому я буду вечно благодарна за ту послед-

нюю просьбу. За то, что позволил освободить его от бремени, пусть и воображаемого.

Папе было пятьдесят восемь, когда он умер. Врач сказал, что из-за сочетания диабета с алкоголем его организм был много старше. У него была тяжелая жизнь, спросил нас врач, и мама спросила в ответ: а бывает другая?

Мы оставили там его тело для дальнейшего научного анализа и сели в машину.

— Мне нужен Лоуэлл, — произнесла моя мать и упала на руль, так тяжко задыхаясь, что, казалось, вот-вот отправится вслед за папой.

Мы поменялись местами, и я повела машину. Повернув пару раз, вдруг поняла, что еду не к новому дому из камня и воздуха, а обратно, к домику-солонке у университета, где выросла. Я и опомниться не успела, как почти вернулась домой.

Об отце вышел длинный внушительный некролог в “Нью-Йорк таймс”, он бы остался доволен. Конечно, упомянули и Ферн, но в качестве объекта исследования, а не члена семьи. Увидев ее имя, я от неожиданности дернулась, будто попала в воздушную яму в самолете. Девочка-обезьянка все еще боялась огласки, а статья казалась разоблачением международного масштаба.

Но к тому времени я уже была в Стэнфорде, где ни о ком ничего почти не знала. Никто со мной и словом об этом не перемолвился.

Через несколько дней после выхода некролога мы получили открытку с изображением небоскреба Риджонс в Тампе, Флорида, с его остроконечной крышей и сорока двумя этажами отливающих оловом окон. “Я сегодня столько Америки вижу”, — гласила открытка. Адресована была маме и мне. Без подписи.

4

И снова 1996-й. Авиакомпания вернула чемодан через пару дней после моего отъезда на рождественские каникулы. Тодд еще не улетел, он вообще редко спешил оказаться дома на праздники, так что смог опознать багаж, вступить во владение.

— Просто находка этот свой чемодан, — сообщил он мне. — Из тысячи узнаю.

Он отдал взамен другой; я не ожидала, что это произойдет в мое отсутствие, и очень расстроилась.

Конечно, не исключено, что, пока самолет садился в Индиане, Харлоу, как у нее водится, пробралась в мою комнату и возложила мадам

Дефарж обратно в небесно-голубой саркофаг. “Все возможно” или, другими словами, “черта с два”.

Мне страшно стыдно. Она, несомненно, была дорогой незаменимой редкостью. Я собиралась положить в чемодан записку с извинениями. Напишу их здесь:

Дорогой неуловимый кукольник!

Хотя не я стащила мадам Дефарж, пропала она, находясь под моим присмотром. Мне так жаль. Уверена, вы высоко ее ценили.

В утешение могу лишь сказать, что отныне она неустанно несет возмездие на своем пути, за что по праву знаменита. Если коротко, она стала политической активисткой и проповедником жестокой справедливости.

И все же я не теряю надежды когда-нибудь вернуть ее вам в целости и сохранности. В ее поисках я не реже раза в месяц захожу на *eBay*.

Приношу мои глубочайшие извинения,

Розмари Кук

В моем собственном раздутом от вещей чемодане все было на месте. Синий свитер, домашние тапочки, пижама, нижнее белье и дневники моей матери, не в том бодром виде, что последний раз, — путешествие обтрепало уголки, поистерло

обложки, лихо заломило рождественскую ленточку. Все слегка помятое, но в общем целое.

Я не сразу взялась за дневники. Слишком устала от поездки домой и измучилась от бесконечных разговоров и мыслей о Ферн все последние недели. Решила на время убрать их на дальнюю полку шкафа, засунуть поглубже, чтобы не попадались на глаза всякий раз, как я раздвигаю зеркальные дверцы.

Так я порешила и немедленно раскрыла тот, что лежал сверху.

Внутри обнаружился полароидный снимок меня в роддоме в первые дни моей жизни. Красная, как клубничина, влажно поблескиваю утробным маринадом и подозрительно щурюсь на мир сквозь щелки глаз. Руки сжаты в кулачки у лица. Явно готова к драке. Под фотографией стих.

“Во-от такой!” —
Разводит дитя руками,
Показывая пион.[20]

Я открыла следующий. У Ферн тоже была фотография и стихотворение. По крайней мере, отрывок. Ее сняли в день приезда в наш фермерский дом. Ей почти три месяца, водорослью

---

[20] Примечания: 20
Стихи Кобаяси Исса (перевод Т. Соколовой-Делюсиной).

обвилась вокруг чьей-то руки. Наверное, маминой; я узнаю крупный узор зеленой рубашки с других фотографий.

Волосы на голове Ферн и бакенбарды стоят дыбом. Тревожным беспокойным венчиком они обрамляют ее голое личико. Руки-прутики, морщинистый лоб, большущие испуганные глаза.

Полуребенок, полугероиня —
Взгляда Новый Орлеан —
Лицо королевы — океан —
Тайны.[21]

Мамины дневники — не научные журналы. Хотя в них есть пара-тройка графиков, какие-то числа и измерения, это вовсе не бесстрастные полевые исследования, как я думала.

Эта самые настоящие детские альбомы.

5

Я рассказала вам, что было в середине истории. Рассказала конец начала и начало конца. Так вышло, что между двумя оставшимися частями есть заметные переклички.

Прошлой осенью мы с мамой на много недель

---

[21] Примечания: 21
Стихи Эмили Дикинсон (перевод Е. Айзенштейн).

засели с ее дневниками, готовя их к публикации. Ближе к семидесяти мама перешла на комбинезоны. Она любит повторять: “С начала века не видала своей талии”, — но на самом деле с годами она постройнела, руки стали подтянутее, ноги суше. Она по-прежнему привлекательна, но теперь сквозь лицо проступает череп. Эти старые фотографии напомнили мне, какой она была счастливой до того, как мы ее сломали.

— Ты была чудо как хороша, — говорила она. По полароидам не скажешь. — Твердая десятка по шкале Апгара.

Шесть часов родов, если верить дневнику. Вес 3200 г, рост 48 см. Очень даже недурно.

В пять месяцев я впервые села. Есть фотография, где я сижу, спина прямая, как штык. Ко мне, обняв за талию, привалилась Ферн. Она то ли уже почти зевнула, то ли как раз собирается.

В пять месяцев Ферн уже ползала на костяшках рук и маленьких поджатых ступнях.

— Она терялась на полу, — рассказывала мама. — С руками-то было все хорошо. Она их видела и понимала, куда ставить. Но ногами размахивала сзади во все стороны, пытаясь нащупать опору в воздухе или сбоку, да где угодно, только не внизу. Ужасно мило.

Я пошла в десять месяцев. В десять месяцев Ферн уже самостоятельно спускалась по лестнице, цепляясь за перила.

— Ты сильно опережала других детей по всем основным показателям, — утешала меня мама. — Думаю, Ферн немножко подтягивала тебя за собой.

В десять месяцев я весила шесть с половиной килограммов. У меня прорезались четыре зуба, два сверху, два снизу. Ферн весила четыре с половиной. По маминым таблицам мы обе были маловаты для своего возраста.

Моим первым словом было “пока”. Я показала его в одиннадцать месяцев, сказала в тринадцать. Первым словом-жестом Ферн была “чашка”. Ей тогда было десять месяцев.

Я родилась в больнице Блумингтона, что совсем не примечательно. Ферн родилась в Африке, где и месяца не прошло, как ее мать убили и продали на еду.

Мама рассказывала:

“Мы несколько лет вели разговоры о том, чтобы взять на воспитание шимпанзе. Но как-то больше абстрактно. Я всегда говорила, что ни за что не соглашусь, чтобы шимпанзе отняли у матери. Всегда говорила: только если ей совсем некуда

деться. Что, конечно, было крайне маловероятно. Я забеременела тобой, и обсуждения затихли.

И тут мы услышали о Ферн. Какие-то знакомые знакомых выкупили ее у браконьеров на рынке в Камеруне, подумав, вдруг мы захотим. Сказали, она была еле живая, совершенно изможденная, грязная, в следах от поноса и совсем завшивевшая. Они не верили, что она оправится, но не могли просто уехать, бросив ее там на произвол судьбы.

А если она все-таки выкарабкается, значит, крепкий орешек. Живучая. Адаптивная. Ровно то, что нам нужно.

Когда ты родилась, она еще была на карантине. Мы не могли рисковать, чтобы она занесла что-то в дом. Так что первый месяц ты была моим единственным младенцем. Ты была такой жизнерадостной. И спокойной — почти совсем не плакала. Но я начала сомневаться. Я и забыла, до чего это тяжко, бессонные ночи, бесконечные кормления. И уже подумывала отказаться от эксперимента, но что бы тогда сталось с Ферн? И каждый раз, как меня одолевали сомнения, мне обещали всю помощь мира. Целую ораву аспирантов.

Ферн появилась в городке очень ветреным

днем. Совсем крошечная и насмерть перепуганная. Дверь с шумом захлопнулась на сквозняке, и она прыгнула из рук принесшего ее парня прямиком ко мне. Ну и все.

Она так крепко за меня цеплялась, что спустить на землю ее можно было, только методично отрывая палец за пальцем. Два года я ходила вся в синяках от ее рук и ног. Но так природой устроено — малыши-шимпанзе первые два года не отлипают от матери.

Она так крепко вцепилась в меня тогда на пороге, что, когда я опустила ее на пол, она протестующе замахала своими ручонками, и в какой-то момент они случайно столкнулись и склеились, словно магниты. Она не могла их разнять, стала кричать, пришлось твоему отцу расцепить их.

Первую неделю она почти все время спала. У нее была колыбелька, но уложить ее туда можно было только спящую. Она устраивалась, свернувшись у меня на коленях, положив голову на руку, и зевала так, что горло было видно, и я тоже начинала зевать. А потом глаза постепенно потухали, веки опускались, подрагивали с пару секунд и закрывались.

Она была вялой, ни к чему не проявляла интереса. Я всегда разговаривала с ней, если заставала

не спящей, но она как будто и не замечала. Было тревожно, что она все-таки не вполне здорова. Или не слишком смышлена. Или так глубоко травмирована, что уже не оправится.

И все же именно в ту неделю она бесповоротно завладела моим сердцем. Такая кроха — и никогошеньки в целом мире. Такая запуганная и грустная. И совсем как ребенок. Совсем как ты, но уже столько натерпелась.

Я говорила твоему папе, что вас нельзя сравнивать, ведь к тебе мир был добр, а к ней — жесток. Но пути назад не было. Я уже любила вас обеих.

Я все что можно перечитала о шимпанзе, которых воспитывали в семьях, особенно книгу Кэтрин Хейс о Вики, и решила, что у нас получится. В конце Кэтрин пишет, что они собираются оставить Вики у себя. Пишет, что люди постоянно спрашивают, не пойдет ли потом Вики против них самих, а она открывает наутро газету и читает про мальчишку, который убил родителей прямо в постели. Все мы рискуем, говорит Кэтрин.

Да, Вики умерла, так и не став большой; настоящие испытания их не коснулись. Но ведь мы с твоим отцом тоже думали, правда думали, что Ферн всегда будет жить с нами. С началом школы твое участие в исследовании закончится, а мы

продолжим работать с Ферн. Потом ты поступишь в колледж, и ты, и Лоуэлл, а она останется дома. Собственно, на это я и соглашалась.

Несколько лет назад я нашла в интернете цитату из отца Вики. Он жалуется на то, что ее вечно приводят как пример неудачного языкового эксперимента. Обреченного на провал, потому что они пытались научить ее именно разговаривать, на что шимпанзе, само собой, физически не способны. Как нам теперь уже известно.

Но мистер Хейс заметил, что самым важным и значимым в их исследовании был вывод, который все предпочли проигнорировать: язык — *единственное,* что отличало Вики от обычного человеческого ребенка".

— Неудача всегда заметнее успеха, — сказала я.

— Боже, — ответила мама. — Какая безнадега. Если бы я в это верила, прямо здесь и сейчас хлебнула бы цикуты.

Разговор происходил вечером, когда мы, засидевшись за столом, допивали вино. Это был особый ужин по случаю выхода книжки. Аванс превзошел наши ожидания (но не соответствовал нашим потребностям). Пламя свечей колебалось на продуваемой сквозняками кухне, и мы ели из праздничных тарелок, которые уцелели после

Ферн. Мама выглядела спокойной и не очень печальной.

Она сказала:

— Помню, читала где-то об одном ученом, который полагал, чтобы справиться с шимпанзе, стоило бы их уменьшить, как поступили, например, с таксами и пуделями.

Я не стала говорить, что читала об Илье Ивановиче Иванове, который в 1920-х годах совершил несколько попыток скрестить человека и шимпанзе, получить некого эфемерного челанзе. Он оплодотворял шимпанзе спермой человека, хотя изначально задумывал наоборот. Вот какие мечты делают нас людьми, мама. Передай-ка мне цикуты, когда выпьешь.

Мама сказала:

“Ферн просыпалась так уж просыпалась. Вертелась юлой. Врывалась вихрем. Носилась по дому маленьким Колоссом. Помнишь, папа прозвал ее Заводной Шкатулкой? Весь гам, и пестрота, и суета Жирного вторника прямо у нас на дому.

Когда ты немного подросла, вы стали слаженной парочкой. Она открывала шкафы, ты вываливала все кастрюли-сковородки до последней. Она на раз-два справлялась с любым защитным запором, но ей недоставало твоего

упорства. Помнишь ее пунктик на шнурках? Мы без конца ходили-спотыкались, потому что Ферн втихаря развязывала шнурки на ботинках.

Она залезала в платяные шкафы, стягивала одежду с вешалок и сбрасывала ее тебе. Приносила тебе пососать монетки из моего кошелька. Открывала ящики и вручала тебе булавки и иголки, ножницы и ножи".

— А вы не боялись за меня? Того, чем это все могло кончиться? — спросила я, подлив себе вина для храбрости, потому как не могла представить годный ответ на трезвую голову.

— Ну конечно! Я все время боялась. Но ты просто обожала Ферн. Ты была очень, очень счастливым ребенком.

— Да? Не помню.

— Правда-правда. Меня тревожило, как на тебе скажется эта жизнь с Ферн, но все же хотелось, чтобы у тебя был такой опыт.

Свечи отбрасывали на стены кухни кукольные тени. Вино было красным. Мама сделала глоток и отвернула чуть обвисшее лицо.

— Мне хотелось, чтобы у тебя была невероятная потрясающая жизнь.

Мама откопала видео из тех, что снимали аспи-

ранты. Кассет было великое множество, поэтому у нас до сих пор стоит старый видеомагнитофон, а свои вы уже сто лет назад повыкидывали. Начинается оно с длинного кадра подъема по лестнице нашего дома. Под музыку из “Челюстей”. Распахивается дверь моей спальни, раздается громкий крик.

Камера переезжает на нас с Ферн. Мы валяемся рядышком на мягком пуфе в совершенно одинаковой позе, закинув руки за голову. Колени согнуты, нога на ногу — одна на полу, другая на весу. Картина полнейшего умиротворения.

В комнате жуткий разгром. Мы будто римляне посреди руин Карфагена; Мерри и Пиппин в Изенгарде. Газеты разодраны в клочья, одежда и игрушки разбросаны повсюду, растоптанная еда валяется на полу. Бутерброд с арахисовым маслом размазан по покрывалу, занавески исчирканы фломастерами. Аспиранты разгребают этот бардак вокруг наших скромных, весьма довольных жизнью персон. Пока они трудятся, в календаре на экране дни сменяют один другой.

Когда-нибудь можно будет залить это видео в книгу. Но пока мы использовали фотографии из маминых альбомов и пытались превратить список всего первого — первых шагов, первых зубов,

первых слов и т. д. — во что-то вроде рассказа. Взяли фотографию Ферн в шляпе бабушки Донны. И ту, где она ногами подносит ко рту яблоко. И ту, где разглядывает свои зубы в зеркале.

В каждом дневнике была пачка портретов крупным планом — для изучения настроений. Мы составили из них пары, чтобы показать разницу в выражении эмоций у ребенка и шимпанзе. Вот я веселюсь, все зубы напоказ, а вот Ферн, губа надвинута на верхние зубы. Когда я плачу, все лицо скукоживается. Лоб наморщен, рот разинут; по щекам текут слезы. На фото плачущей Ферн рот тоже открыт, но голова запрокинута, глаза закрыты, лицо сухое.

Я не вижу большой разницы между снимками меня довольной и тем, что подписана “радостная”. С Ферн проще. На первой рот открыт, на второй — губы сложены трубочкой. На довольной лоб гладкий, на радостной — сморщенный.

Ферн оказывалась почти на всех моих фотографиях. Вот я на руках у бабушки Фредерики, и Ферн тут же, внизу, ухватилась за ее ногу. Я сижу на качелях, и Ферн свешивается с перекладины над моей головой. Вот мы прижимаемся к нашему терьеру, Тамаре Пресс, крепкая троица мелких домашних животных. Мы обе сжимаем

в кулаках шерстку Тамары. Она кротко смотрит в камеру, будто ей вовсе не больно от всей силы нашей любви.

Вот мы с отцом у озера Лемон. Я спереди, в кенгуру, спина прижата к его груди, лицо сплющено ремешками. Ферн в рюкзаке, выглядывает из-за его плеча, волосы всклокочены, глаза ошалевшие.

Стихи в наших детских альбомах написаны рукой матери, но поэты были папиными любимыми — Кобаяси Исса и Эмили Дикинсон. Когда я впервые прочла их в дневниках еще тогда, зимой 1997 года в общежитии, мне подумалось, что при всем своем категоричном отрицании антропоморфизма, отец едва ли мог выбрать кого-то, кто набрал бы больше очков в тесте Лоуэлла на родство и сходство. Плюс дополнительные очки за букашек.

Исса

Ой, не бейте муху!
Руки у нее дрожат,
Ноги у нее дрожат…[22]

Дикинсон

---

[22] Примечания: 22
Перевод В. Марковой.

“Я жду тебя, Пчела!
Кому-то, кто вчера
Спросил, когда прилет,
Ответила: «Вот-вот!»

Лягушки, что в болоте,
Те все уже в работе,
А птицы – все почти.
Пожалуйста, прочти!

Да, клевер твой цветет!
Я шлю тебе привет!
Пиши! А лучше в ухо
Жужжи! До встречи. Муха”.[23]

2012

Год Водяного Дракона.

Год выборов в Соединенных Штатах (как будто вам надо напоминать), козлиные трели марширующего оркестра Айн Рэнд раздаются из каждого радиоприемника.

На мировом уровне — Возрождение Динозавров. Заключительный акт: Отмщение зарвавшимся млекопитающим. Сцена, в которой они

---

[23] Примечания: 23
Перевод Т. Стамовой.

варят нас в нашей собственной глупости. Если бы глупость была топливом, запасы никогда бы не иссякали. А покуда ревнители религии дома и за границей в то малое время, что осталось до конца света, усердно вытаптывают последние надежды на призрачное счастье.

У меня, впрочем, полный порядок. Грех жаловаться.

Мы с мамой сейчас живем в Вермиллионе, Южная Дакота, снимаем невзрачный домик, еще меньше того, из камня и воздуха. Я тоскую по мягким зимам в Блумингтоне и еще более мягким северокалифорнийским, но Вермиллион — университетский город, и довольно милый.

Последние семь лет работаю учительницей в приготовительном классе при начальной школе Адисон, и из того, что пока удалось придумать, это больше всего походит на жизнь со стаей шимпанзе. Китч была права. Нет — пророчески права. У меня отлично получается. Я отлично понимаю язык тела, особенно у малышей. Наблюдаю за ними, слушаю, а потом могу точно сказать, что они чувствуют, что думают и, что еще важнее, собираются сделать.

Мои прежние дошкольные повадки, которые так ужасали всех, когда я была приготовишкой,

оказались вполне сносными для учителя. Каждую неделю мы разучиваем слово, которое, надеемся, неизвестно родителям, и это вызывает большой энтузиазм. На прошлой неделе было *плодоядный.* На этой — *ингибированный.* Готовлю их к отборочным тестам.

Я забираюсь на стул, когда хочу привлечь внимание. Когда мы сидим на ковре, они ползают у меня по коленям, расчесывают пальцами волосы. Когда в класс вносят деньрожденные капкейки, мы приветствуем их криками и уханьем, какими шимпанзе встречают еду.

Целый раздел у нас посвящен правильному поведению с шимпанзе. Когда приходишь к ним в семью, рассказываю я, нужно пригнуться, стать меньше ростом, чтобы не напугать. Показываю, как жестом изобразить слово *друг.* Как улыбаться, прикрывая губой верхние зубы. Когда делают наши групповые фотографии, я всегда прошу две — одну для родителей, вторую для класса. На классном снимке у всех нас приветливые мордочки шимпанзе.

Освоив приличные манеры, мы отправляемся на экскурсию в лабораторию Алжевика, которая теперь называется Центром коммуникации приматов. Проходим в комнату для посетителей, где

между нами и шимпанзе стена из пуленепробиваемого стекла.

Иногда шимпанзе не в настроении принимать гостей, что и демонстрируют, наскакивая на стену, с грохотом ударяясь о нее всем телом, так что стекло дрожит. В такие дни мы уезжаем обратно и приходим в другой раз. Центр — их дом. Им решать, кого принимать.

Но у нас в классе есть скайп. Он включен у меня все утро, и дети в любой момент могут глянуть, как там шимпанзе, и наоборот. Сейчас их в центре только шесть. Трое младше Ферн — Хэйзел, Бенни и Спраут. Двое старше, оба самцы — Албан и Хану. Так что Ферн не самая большая, не самая старшая, не самая самцовая. И все же, по моим наблюдениям, она там самая главная. Я замечала, как Хану жестом показывал просьбу — рука протянута, кисть повисшая, — обращаясь к Ферн, но ни разу не видела, чтобы это делала она. Так-то вот, доктор Соса.

Приготовишкам куда больше по сердцу моя племянница Хэйзел, чем моя сестра. Им нравится Спраут, самый юный в свои пять, лучший из всех. Спраут Ферн не родня, но похож на Ферн из моего детства больше, чем она сама. Мы редко представляем взрослых шимпанзе, скорее

послушных малюток. Ферн стала медленнее и тяжелее. Жизнь крепко ее измотала.

Приготовишки говорят, она какая-то вредная, но, по мне, она просто хорошая мать. Ферн управляет общественной жизнью центра, с ней не забалуешь. Если случается стычка, всех унимает, заставляет обняться и помириться.

Иногда в скайпе появляется наша собственная мать, просит меня захватить что-то в магазине по дороге домой или напоминает о записи к зубному. Она каждый день на добровольных началах работает в центре. Главное ее занятие — следить, чтобы у Ферн всегда была ее любимая еда.

Когда мама пришла в первый раз, Ферн не желала смотреть в ее сторону. Села спиной к стеклу и не поворачивалась даже глянуть, о чем они там толкуют с Хэйзел. Мама испекла арахисовое печенье, раньше Ферн его обожала. Печенье передали, но она и не притронулась.

“Она не узнает меня”, — сказала мама, но я-то считала, как раз наоборот. Ферн никогда бы не отказалась от арахисового печенья без веской причины.

Когда настал мамин черед подавать обед — в стене проделано небольшое окошко, как раз чтобы просунуть поднос, — Ферн уже ее поджидала.

И схватила за руку. Вцепилась довольно больно, и мама несколько раз просила ослабить хватку, но Ферн как будто и не слышала. Сидела с надменным безучастным видом. Маме пришлось укусить ее, чтобы вырваться.

Но со временем она смягчилась. Теперь они с мамой переговариваются жестами, и Ферн внимательно следит за всеми ее перемещениями, с другими такого явно нет. Ходит за ней по пятам, насколько это возможно: Ферн внутри, мама снаружи. Ест печенье. В детском альбоме Ферн есть фотография, где мы с ней сидим за столом на нашей кухне, у каждой в руке пестик, чтобы было что лизать. Ферн вгрызается в свой, как в куриную ножку.

Я все думала, что же сказать Ферн, когда она спросит о Лоуэлле и папе. Нам снова и снова приходилось напоминать дедушке Джо в доме для престарелых, что папа умер, но спустя пять минут он опять с горечью спрашивал, чем же он заслужил, что единственный сын совсем его не навещает. Но Ферн ни разу не упомянула ни того, ни другого.

Иногда мои приготовишки вместе с шимпанзе изготавливают поделки, по скайпу или прямо в центре. Мы рисуем пальцами. Клеим на бумагу

пластилин с блестками. Лепим из глины тарелки с отпечатками ладоней. Центр устраивает благотворительные ярмарки, на которых продают эти творения шимпанзе. У нас дома на стенах висит несколько работ Ферн. Я больше всего люблю, как она изобразила птицу — темный штрих на светлом небе, ни клетки для птахи, ни следа самого автора.

В центре полки завалены видео, которые еще предстоит изучить; исследователи не поспевают за количеством материала. Так что шесть оставшихся шимпанзе сошли с научной орбиты. Наше появление приветствуется, это их развлекает и подстегивает, и никто не дергается, что мы нарушаем чистоту эксперимента.

Об этих шести шимпанзе прекрасно заботятся, и все же их жизнь не завидна. Им нужно больше места и внутри, и снаружи. Им нужны птицы, деревья, ручьи с лягушками, пищание комаров, жужжание мух, не срежиссированная природа. Им нужно больше неожиданностей в жизни.

Ночью я лежу и, как когда-то грезила о домике на дереве для нас с Ферн, мысленно рисую дом для людей, что-то вроде караульной будки, но больше — с четырьмя спальнями и двумя ваннными. Главная дверь — заодно и единственный

вход на территорию. Задняя стена целиком из пуленепробиваемого стекла и смотрит на двадцать, если не больше, акров, засаженных кизилом, сумахом, золотарником и ядовитым плющом. В моих мечтах люди живут в доме, а шимпанзе свободно разгуливают по всей земле, шестеро из центра, но и другие тоже; быть может, даже мои племянники, Бэзил и Сейдж. Мысль о них как раз-таки напоминает, что все это фантазии; ввести двух взрослых самцов в нашу маленькую общину — крайне сложная и опасная затея.

В последние несколько лет в новостях мелькали сюжеты о жутких нападениях шимпанзе. Я не боюсь Ферн. Но понимаю, что мы уже никогда не коснемся друг друга, никогда не посидим в обнимку, не пройдемся нераздельной парочкой, будто одно целое. Это убежище из моих грез — лучшее, что я могу представить. С изгородью под напряжением вокруг и пуленепробиваемой стеной между нами.

Денег потребуется больше, чем зарплата учителя в приготовительном классе. Напечатать дневники в виде детской книжки было маминой идеей. Она их, собственно, написала и почти полностью сама подготовила окончательный вариант для публикации, но мы с Ферн по ее

сумасбродной задумке значимся на обложке в соавторах. Вся выручка будет переведена центру, чтобы расширить вольер на открытом воздухе. В каждую книгу будет вложен бланк для пожертвований.

Наш издатель пребывает в радостном нетерпении и настроен оптимистически. День выхода назначен ближе к моему летнему отпуску. Рекламный отдел прогнозирует большой интерес среди медиа. Когда я начинаю об этом думать, впадаю в панику и надеюсь только, что это будет печатная пресса, а не радио, радио, а не телевидение, а еще лучше (чистый эгоизм), если никто попросту не обратит внимания.

Отчасти дело в моем привычном страхе публичности. Ужас пробирает при мысли, что наступит лето, и уже не увильнуть, не спрятаться. Все, от женщины, которая меня стрижет, до английской королевы, будут знать, кто я такая.

Конечно же, не кто я на самом деле, а причесанная версия меня, более ходовая, которую проще полюбить. Я, которая учит приготовишек, а не я, у которой никогда не будет детей. Я, любящая мою сестру, а не я, из-за которой ее услали прочь. Я до сих пор не обрела места, где могла бы быть самой собой. А может, стать самим собой в принципе

невозможно.

Когда-то я думала, что девочка-обезьянка — угроза лишь для меня одной. Теперь я знаю, что ей под силу любое дело пустить под откос. Так что к старому доброму страху публичности добавился новый — что я все провалю, не угадаю, сколько девочке-обезьянке уместно предъявить миру. Вряд ли я вам понравлюсь с любыми фортелями. Все равно что вернуть меня в школу, только без коридоров и классов, зато с таблоидами и блогами.

Представьте меня на экране ваших телевизоров. Я покажусь вам со своих лучших человекообразных сторон. Не буду забираться на столы и скакать по диванам, хотя многие не раз проделывали такое в разных телевизионных шоу, и никто их за это не исключил из рода человеческого. И все же вы подумаете — странно, на вид вроде совершенно нормальная, даже хорошенькая при определенном освещении, и тем не менее. Что-то с ней явно не так. Никак не могу уловить, что именно…

Вас будет коробить от меня из-за того самого эффекта “зловещей долины”. Или я буду вас раздражать; постоянно с этим сталкиваюсь. Только не вините в этом Ферн. Вам бы понравилась

Ферн.

Хорошо бы мама могла выступать вместо меня, но из нее не сделать безвинную жертву. Публика в аудитории будет возмущаться и кричать на нее.

Так что вот — человеческая половина Шоу сестер из Блумингтона, феерическая Розмари Кук скоро на арене. Каждое сказанное мной слово будет от имени моей сестры. Мной будут восхищаться. Ферн за кадром станет очень влиятельной. Таков план.

Таков был план.

6

А если не хотите *меня* слушать…

Вот жизнь моей сестры в исполнении мадам Дефарж:

“Жила-была одна счастливая семья: мама, папа, сын и две дочери. Старшая была умной и ловкой, с ног до головы покрыта волосами и очень красива. Младшая была обычной. Но родители и брат любили их обеих.

Mon Dieu![24] В один прекрасный день старшая попала во власть злого короля. Он заточил ее в

---

[24] Примечания: 24
Боже мой! *(фр.).*

темницу, где никто не мог ее увидеть. Он наложил заклятие, чтобы она осталась там навсегда. Каждый день он говорил ей, какая она уродина. Злой король умер, но это не сняло заклятия.

Его могут снять только люди. Они должны увидеть, как она прекрасна. Они должны приступом взять темницу и потребовать ее освобождения. Заклятие будет снято, только когда восстанут люди.

Так что восстаньте уже наконец".

Пятнадцатого декабря 2011 года газета "Нью-Йорк таймс" сообщила, что Национальный институт здоровья заморозил все новые гранты на биомедицинские и поведенческие исследования шимпанзе. В будущем изучение шимпанзе будет финансироваться, только если исследования критически необходимы для здоровья человека и нет абсолютно никаких других способов получить результат. Были обозначены два возможных исключения — текущие исследования в области иммунологии и гепатита С. Но главный вывод доклада — что большая часть экспериментов на шимпанзе совершенно необязательна.

Маленькие победы. Мы с Ферн отметили новость шампанским. Отец на Новый год всегда наливал нам по глоточку. Ферн каждый раз чи-

хала.

Интересно, помнит ли она это. Знаю, что она не спутает наш скромный пир с Новым годом. В центре отмечают праздники, и у Ферн с порядком все чин чинарем — сначала День масок, потом День поедания птиц. Сначала День конфетного дерева и только потом День ночи-не-спать.

Я часто думаю про память у Ферн. Лоуэлл сказал: она сразу меня узнала. Мама: она меня не узнает.

Исследования Киотского университета показали, что в некоторых случаях кратковременная память у шимпанзе лучше, чем у людей. Много лучше. То есть просто даже и сравнивать нечего.

Изучать долговременную память сложнее. В 1972 году Эндель Тульвинг ввел понятие *эпизодической памяти* для обозначения способности запоминать события в жизни человека, связанные с определенным местом и временем (что, где, когда), а также возвращаться к ним позднее, мысленно переживая их вновь, такое своего рода воображаемое путешествие во времени.

В 1983-м он написал: “Животные могут учиться, использовать свой опыт, приспосабливаться и адаптироваться, решать проблемы и принимать решения, но не могут возвращаться в своей памя-

ти к прошлым событиям". Эпизодическая память, по его словам, — уникальная человеческая способность.

Как он это узнал, непонятно. По-моему, всякий раз, как мы, люди, заявляем, что вот нечто, делающее нас уникальными — двуногость без перьев, изготовление орудий, язык, — появляются особи, которые могут похвастаться тем же. Будь человеку присуща скромность, мы бы давно стали осторожнее в высказываниях.

У эпизодической памяти есть некоторые субъективные атрибуты, например, чувство времени и уверенность, не всегда оправданная, в точности воспоминания. Эти особенности не были замечены у других видов. Что не означает их отсутствия. Равно как и наличия.

Однако и у других видов наблюдается работа эпизодической памяти — способность удерживать информацию из личного опыта о том, что, где и когда. Эти данные особенно убедительны в случае с голубыми кустарниковыми сойками.

У людей все не слишком хорошо обстоит с "когда". При этом исключительно хорошо с "кто". Мне кажется, общительные шимпанзе устроены так же.

Помнит ли нас Ферн? Или помнит, но не при-

знает в нас людей, которых помнит? Мы уж точно не выглядим, как раньше, и я не знаю, понимает ли Ферн, что дети вырастают, а люди стареют, как и шимпанзе. Я не нашла научных работ, в которых бы говорилось, что остается в их памяти за двадцать два года жизни.

И все же я верю, что Ферн знает, кто мы. Доказательства слишком убедительны, даже бесспорны. Только взыскательный дух моего отца не дает утверждать это совсем уж категорично.

7

Тогда, в феврале мне позвонила рекламный агент издательства с неожиданным и пренеприятным известием, что им все утро приходят запросы на интервью от всех главных СМИ. Застрочила знакомыми именами — Чарли Роуз, Джон Стюарт, Барбара Уолтерс. Сказала, что издательство пытается понять, нельзя ли сдвинуть дату выхода на пораньше. Смогу ли я подстроиться? Но говорила она все это на удивление сдавленным тихим голосом. Так я узнала, что Лоуэлла таки арестовали.

Его взяли в Орландо, где вдобавок к имевшемуся списку обвинений толщиной эдак с “Войну и мир”, он, по утверждению полиции, почти

завершил подготовку к нападению на парк “Водный мир”. Они вмешались в самый последний момент.

Неопознанная сообщница по-прежнему была на свободе.

Издать записки мы с мамой решились из-за Ферн. Из двух дневников получается чудная веселая детская книжка. “Ферн и Розмари сестры. Они живут в большом доме, в деревне”. В этой истории нет женщин, связанных, как индюшки, нет убитых котят. В ней все правда — ничего, кроме правды, — просто не вся правда. Ее ровно столько, сколько, по нашему разумению, нужно детям и необходимо Ферн.

Но этой правды недостаточно для Лоуэлла.

Так что дальше моя история для него. И для Ферн тоже, снова Ферн, куда без Ферн.

У брата с сестрой за спиной невероятные жизни, но меня с ними не было, поэтому и рассказать вам я не могу. Здесь я писала только о том, что могу рассказать, о том, что про меня, хотя все, что я говорила, это и про них, обведенное мелом место, где должны были быть они. Трое детей, одна история.

И рассказываю именно я, а не кто-то другой, только потому, что я единственная, кто в данный

момент не за решеткой.

Почти всю жизнь я старательно избегала разговоров о Ферн, Лоуэлле и себе. Нужно хорошенько потренироваться, чтобы научиться. Считайте все, что я тут написала, тренировкой.

Потому что больше всего нашей семье сейчас нужен отличный рассказчик.

Я не собираюсь доказывать невиновность Лоуэлла. Знаю, что он считал фабрику косаток “Водного мира” бесчеловечным адом. Считал, что с “Водным миром” надо покончить до того, как произойдут новые убийства. Знаю, что не просто считал, но и действовал.

Так что, скорее всего, это не пустые обвинения, хотя “нападение” на “Водный мир” может означать бомбу, а может — граффити или кремовый торт в лицо. Власти явно не всегда готовы видеть разницу.

Что не отменяет того, что Лоуэлл намеревался причинить серьезный ущерб.

Люди говорят на языке денег, давным-давно сказал мне Лоуэлл. Думаешь общаться с людьми, учи этот язык. Просто хочу вам напомнить, что ФОЖ выступает против того, чтобы страдали животные, люди и кто угодно еще.

Я ловлю себя на мысли, что лучше бы Лоуэлла

поймали раньше. Лучше бы я сама сдала его тогда, в 1996-м, когда обвинений на его счету было меньше, а демократии в стране больше. Он бы, конечно, отсидел в тюрьме, но зато сейчас был бы дома. В 1996-м даже у обвиняемых в терроризме были конституционные права. Лоуэлл уже три месяца под арестом и до сих пор не видел своего адвоката. Он в плохом состоянии.

Это по слухам. Нас с мамой тоже к нему не пускают. Есть недавние фото в газетах и в Сети. Выглядит законченным террористом. Всклокоченная голова, спутанная борода, запавшие глаза, взгляд Унабомбера. Я прочла, что с момента ареста он не произнес ни слова.

Для всех его молчание — загадка, но для меня яснее ясного. Когда мы виделись последний раз шестнадцать лет назад, он уже был на полпути к этому. Лоуэлл решил, что будет нести ответ как животное. Не человек.

Животные уже представали перед судом. Полагают, первой акцией ФОЖ в Штатах стало освобождение двух дельфинов из Гавайского университета в 1977 году. Двух мужчин обвинили в краже в особо крупных размерах. Изначально линия защиты была построена на том, что дельфины — те же физические лица (люди в костюмах

дельфинов, как заявил один из обвиняемых), но судья сразу ее отклонил. Я не вполне понимаю, что суд понимал под лицом. Что-то, исключающее дельфинов, но пригодное для обозначения целых корпораций.

В 2007-м в Вену было передано дело от имени Маттиаса Хиазла Пана, шимпанзе. Дело отправилось в Верховный суд Австрии, который постановил, что он вещь, а не лицо, хотя и выразил сожаление из-за отсутствия какой-либо третьей категории — не лица и не вещи, — к которой его можно причислить.

Животному нужен очень хороший адвокат. В 1508 году Бартоломе Шассене прославился и разбогател после своей блестящей речи в защиту бургундских крыс. Тех обвинили в уничтожении урожая ячменя, а также в неуважении к судебному предписанию явиться на слушания. Бартоломе Шассене доказал, что крысы не смогли прибыть, поскольку суд не обеспечил им по пути должную защиту от деревенских котов.

Я недавно общалась с матерью Тодда и думаю, она согласится представлять Лоуэлла. Она не прочь, но дело сложное и, похоже, затяжное. Потребуется куча денег.

Снова деньги.

В “Утопии” Томаса Мора нет денег, нет частной собственности — все это претит утопийцам, которых следует поберечь от грубых сторон жизни. В войнах за них бьются заполеты, племя, живущее неподалеку. Рабы забивают им скот. Томас Мор боится, что утопийцы утратят свое тонкое душевное расположение и добродетельную чуткость, если сами займутся подобными делами. Нас заверяют, что заполеты рождены для кровопролития и грабежей, но ничего не говорится о влиянии резни скота на рабов. Не бывает Утопии для всех.

Что снова возвращает нас к Лоуэллу. Он десятки лет проработал на агропромышленных фермах, в косметических и фармацевтических лабораториях, тайно собирая сведения. Видел то, чего мы не желаем видеть, делал то, чего никому бы не следовало. Ради этого он пожертвовал семьей, будущим, а теперь и свободой. Он не худший из людей, как посчитал бы Томас Мор. Жизнь Лоуэлла — результат лучшего в нем, лучшего в нас: отзывчивости, сострадания, верности и любви. Это необходимо признать.

Правда и то, что мой брат с возрастом становился опаснее, в точности как моя сестра. Но они все равно наши, без них никак. Они нужны здесь, дома.

Середина истории оказалась куда более условным понятием, чем мне думалось в детстве. Ее можно поместить куда угодно. Да и начало с концом тоже. Разумеется, моя история еще не окончена, то есть то, что в ней происходит. Завершен только сам рассказ.

И закончу я кое-чем, что случилось довольно давно. Закончу я моей первой встречей с сестрой после нашей двадцатидвухлетней разлуки.

Не могу рассказать вам, что я испытала; никак слов не хватит. Нужно оказаться в моем теле, чтобы понять. Но вот что мы делали.

Мама тогда уже две недели навещала Ферн. Мы решили не приходить сразу вдвоем, чтобы не перевозбуждать ее, и я ждала. Когда маму приняли так прохладно, я снова ждала. Через несколько дней после того, как они начали общаться жестами, мама сказала Ферн, что я приду.

Для начала я послала кое-какие вещицы: моего старого пингвина Декстера Пойндекстера, потому что она могла его помнить; свитер, который я так много носила, что он должен был сохранить мой запах; одну красную покерную фишку.

Придя сама, я принесла вторую фишку. Зашла в комнату для посетителей. Ферн сидела у дальней стены, уставившись в журнал. Поначалу я узнала

ее по ушам, они у нее выше на голове и круглее, чем у других шимпанзе.

Я учтиво склонилась и приблизилась к стеклянной стене. Заметив, что она смотрит, жестом показала ее имя и наш с ней знак для Розмари. И прижала к стеклу ладонь с покерной фишкой.

Ферн тяжело поднялась и подошла ко мне. Она положила свою большущую руку поверх моей и, чуть согнув пальцы, заскребла по стеклу, словно могла достать фишку сквозь стену. Свободной рукой я снова показала мое имя, она повторила, но я не знала, она меня вспомнила или это просто из вежливости.

Потом она прижалась лбом к стеклу. Я тоже. Мы долго-долго стояли так, лицом к лицу. Сквозь марево слез, размытыми обрывками я видела:

ее глаза

раздувающиеся ноздри

редкие волоски на подбородке и пух на ушах

едва заметно вздымающиеся и опускающиеся округлые плечи

в такт дыханию запотевающее и оттаивающее стекло.

Я не знаю, о чем она думала и что чувствовала. Ее тело стало мне чужим. И все-все в ней было родным. Моя сестра Ферн. Моя единственная

красная фишка на всем белом свете. Будто я смотрела на себя в зеркало.

Благодарности

Здесь будет множество благодарностей.

Тату, Дару, Лули и людям в Институте изучения коммуникации шимпанзе и человека в Элленсбурге, Вашингтон.

Чудесным людям в Хеджбрукском приюте, сотрудникам, а также временным соседям, которые подстегивали меня и давали свободу, когда я в этом нуждалась, и особенно потрясающей Рут Озеки за ее дружбу и поддержку.

Моим дорогим друзьям Пэт Мерфи и Эллен Клэйджес, показавшим выход из тупика, в который я себя загнала в процессе писания.

Меган Фицджеральд за сбор важной информации по Блумингтону.

Многим читателям, которые просмотрели для меня множество разрозненных фрагментов — Алану Элмсу, Майклу Блумлейну, Ричарду Руссо, Дебби Смит, Дональду Кочису, Картеру Шольцу, Майклу Берри, Саре Стрейч, Бену Орлов, Клинтону Лоуренсу, Мелиссе Сандерселф, Ксандеру Кэмерону, Ангусу Макдональду.

Мике Перксу, Джилл Уолфсон и Элизабет

Маккензи, которые не один раз прочли всю рукопись целиком и поделились своими проницательными и конструктивными критическими замечаниями.

Я очень благодарна доктору Карле Фреччеро за ее чтения и лекции по психологии животных.

Как всегда глубочайшая признательность Венди Вейл и всему агентству “Вейл”, а также несравненной Мариан Вуд.

Но больше всех я обязана моей дочери. Она подарила мне идею этой книги на Новый год и прислала множество ценных комментариев, пока я ее писала. Вместе с сыном они снабдили меня крайне полезными сведениями о том, что из себя представлял колледж в середине 1990-х, а мой муж как всегда оказывал столь необходимую безграничную поддержку.